

ШЕЙЛА ФИЦПАТРИК

РУССКАЯ
революция



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ

Sheila Fitzpatrick

The Russian Revolution

Third Edition

Шейла Фицпатрик

Русская революция

Перевод с английского
Николая Эдельмана



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

МОСКВА • 2018

УДК 94(47).084

ББК 63.3(2)6

Ф66

Книга выпущена при поддержке
Фонда «Либеральная Миссия»

Фицпатрик, Ш.

Ф66 Русская революция [Текст] / пер. с англ. Н. Эдельмана. —
М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. — 320 с.

ISBN 978-5-93255-507-1

Безупречная в своей научной объективности, эта книга рассказывает захватывающую историю марксистской революции, которая была призвана преобразить мир, но вместо этого причинила огромные страдания русскому народу и, как Французская революция до нее, закончила пожиранием своих детей. Автор предлагает емкое описание Февральской и Октябрьской революций 1917 года, Гражданской войны, нэпа, сталинской «революции сверху», пятилеток и «Больших чисток» — все они рассматриваются как отдельные эпизоды двадцатилетнего процесса революции. Книга включает данные из архивов, которые были прежде недоступны не только западным, но и советским историкам, а также опирается на важные новейшие публикации.

© Sheila Fitzpatrick 2008

© Издательство Института Гайдара, 2018

Третье издание книги *The Russian Revolution* первоначально было опубликовано по-английски в 2008 году. Настоящий перевод публикуется по договоренности с *Oxford University Press*.

ISBN 978-5-93255-507-1

Содержание

Предисловие к русскому изданию · 7
Благодарности · 11

Введение · 13

Временные рамки революции · 14; Историография революции · 20; Революция в зеркале интерпретаций · 27; Замечания по третьему изданию · 36

1. В преддверии революции · 39

Российское общество · 41; Революционные традиции · 54; Революция 1905 года и ее последствия; Первая мировая война · 68

2. 1917 год: Февральская и Октябрьская революции · 83

Февральская революция и «двоевластие» · 90; Большевики · 99; Народная революция · 104; Летние политические кризисы · 112; Октябрьская революция · 119

3. Гражданская война · 130

Гражданская война, Красная армия и ЧК · 138; Военный коммунизм · 147; Представления о новом мире · 157; Большевики во власти · 164

4. Нэп и будущее революции · 173

Дисциплина отступления · 179; Проблема бюрократии · 189; Борьба за власть · 196; Построение социализма в одной стране · 204

5. Сталинская революция · 219

Сталин против правых · 226; Курс на индустриализацию · 236; Коллективизация · 245; Культурная революция · 256

6. Завершение революции · 269

«Революция свершилась» · 273; «Преданная революция» · 285; Террор · 296

Избранная библиография · 311

Предисловие к русскому изданию

Хорошо это или плохо, но Русская революция была одним из величайших событий XX века. То, что произошло в 1917 г. в России, имело принципиально важное значение не только для России, но и для Европы и всего мира. В год столетнего юбилея этих событий по всему земному шару проходят научные конференции, посвященные обсуждению их значения.

Русская революция представляла собой сложный процесс, включавший свержение царя в ходе Февральской революции, создание Временного правительства, лето, полное неопределенности, и, наконец, взятие большевиками власти в октябре 1917 г. Но даже это не стало концом потрясений, так как потом началась Гражданская война с ее противостоянием красных и белых, хаосом по всей стране и страданиями населения. То, что для одних было освобождением, для других обернулось бедой и трагедией. Многие отправились в эмиграцию, что привело к возникновению русских диаспор во многих городах Европы и Америки.

Эта революция была не только «Русской», поскольку Российская империя носила многонациональный характер. Некоторые старые национальные регионы, такие как Финляндия и Прибалтика, отделились, но большинство не обрело независимости и осталось в составе территории ново-

го СССР. Это осложняло как сам революционный процесс, так и его результат. Еще одним источником осложнений служила уверенность большевиков, что они были частью международного революционного процесса, так как в реальности революционная волна, поднявшаяся после окончания Первой мировой войны, потерпела поражение в других странах Европы, и Россия/Советский Союз оказался в одиночестве, окруженный враждебными державами, которые ожидали его краха.

Победа красных в Гражданской войне проложила путь к утверждению «первого в мире социалистического государства» — Советского Союза. Но в долгосрочной перспективе и это не стало концом революции в России, поскольку попытки новых властей во главе с Лениным, а затем со Сталиным осуществить поставленные ими своей целью радикальные политические, социальные, экономические и культурные преобразования продолжались еще два десятилетия. В сравнительном отношении эти преобразования можно рассматривать как программу социалистической модернизации. Но составной частью этого процесса так часто становился террор, что многие исследователи считают его определяющей чертой этих событий. Как и когда завершить революцию, то есть перейти от фазы разрушения и хаоса к фазе государственного строительства и возвращения к норме, — неизбежная проблема для победивших революционеров, а также для исследователей, освещающих их деяния. Одни авторы считают, что моментом, когда Россия (Советский Союз) перестала быть революционным государством и решительно перешла к этапу национального строительства, стал 1945 г., — советская победа во Второй мировой вой-

не. Но другие полагают, что истинное «возвращение к норме», то есть конец революции, состоялось лишь после крушения Советского Союза в 1991 г.

В нынешний год столетия революции, к удивлению многих сторонних наблюдателей, Российская Федерация не проводит никаких масштабных юбилейных публичных мероприятий — очевидно, из-за того, что Русская революция все еще остается слишком неоднозначной темой. Бывшие советские республики, ставшие независимыми государствами, такие как Украина, также воздержались от каких-либо торжеств. В 2017 г. в Крыму запланировано открытие «Памятника примирения», но представляется, что в глазах российской общественности полное примирение все еще остается преждевременным, а в оценке революционных событий отсутствует однозначность. И это не удивительно. Во Франции наследие Французской революции оставалось предметом политических разногласий и в 1889 г., когда отмечалось ее столетие, и даже в 1989 г., в год ее двухсотлетнего юбилея. Вполне возможно, что в России будет точно так же.

Пусть сейчас, в 2017 г., россиянам проблематично найти для Русской революции место в полезном прошлом, то есть в том прошлом, которое можно использовать для того, чтобы разобраться в настоящем и указать путь в будущее. В конечном счете такое место придется найти, поскольку Русская революция — событие слишком масштабное, чтобы быть преданным забвению. Но это будет не только политический, но и историографический процесс. В данный момент перед историками и перед теми россиянами, которым небезразлична их история, стоит более простая и в то же время бесконечно бо-

лее сложная задача — понять. Как человек, чье непосредственное знакомство с Россией состоялось еще в 1966 г., когда я аспирантом прибыла в Москву в рамках британско-советского культурного обмена, хочу выразить надежду на то, что моя книга поможет им в этом.

Благодарности

Первый черновой вариант этой книги был написан летом 1979 г., в мою бытность приглашенным научным сотрудником в Исследовательской школе по общественным наукам при Австралийском национальном университете. Я выражаю благодарность моему другу Гарри (Т. Г.) Ригби, устроившему мое приглашение в АНУ и впоследствии сделавшему ряд полезных замечаний по рукописи, Р. У. Дэвису, внесшему в нее серьезную поправку, и Джерри Хафу, служившему для меня источником интеллектуального вдохновения и поддержки на всем протяжении работы над рукописью. Первыми читателями большей части книги стали мои студенты в Колумбийском университете и в Техасском университете в Остине. При подготовке второго издания книги в 1993 г. помощь в исследованиях мне оказывали Джонатан Боун и Джошуа Сэнборн; помимо этого, весьма полезными оказались дискуссии с Терри Мартином, Уильямом Розенбергом, Арчем Гетти и Колином Лукасом, с которыми мы обсудили ряд различных вопросов. Майкл Дэнос, прочитавший исправленную рукопись второго издания, умер до начала работы над третьим изданием, но оставил свой след на страницах книги. Много пищи для ума при работе над вторым и третьим изданиями я получила от участников Семинара по русистике при Чикагском уни-

верситете. Мне приятно отметить, что некоторые из тех, кто был аспирантами в момент выхода второго издания, с тех пор успели написать важные работы, цитируемые в третьем издании. Кроме того, я благодарна Мэтью Коттону, моему редактору в *Oxford University Press*, с подачи которого я приступила к работе над третьим изданием.

Введение

Второе издание «Русской революции» (1994) вышло на волне драматических событий — краха коммунистического режима и распада Советского Союза в конце 1991 г. Эти события имели самые разнообразные последствия для историков, занимающихся Русской революцией. Были открыты прежде недоступные архивы, на свет появлялись мемуары, извлеченные из тайников, в которых они хранились, всплывали все новые и новые материалы самого разного рода — особенно по сталинскому периоду и истории советских репрессий. В результате 1990-е и начало 2000-х гг. оказались особенно плодотворными для историков, включая и российских историков, получивших возможность присоединиться к международному научному сообществу. Наиболее важные англоязычные работы из числа появившихся после 1991 г. упоминаются в этом, третьем, издании в сносках и перечисляются в библиографии.

Для россиян и прочих бывших советских граждан крах Советского Союза привел к принципиальной переоценке смысла революции¹, которая

1. Даже с наименованием революции возникли сложности. Термин «Русская революция» никогда не был в ходу в России. Согласно советской терминологии, которой многие русские сейчас стараются избегать, это была «Октябрьская революция» или просто «Октябрь». В последнее вре-

прежде превозносилась в качестве события, положившего начало «первому в мире социалистическому государству», а сейчас понимается многими как трагическое событие, на 74 года сбившее Россию с верного курса. Западным историкам не пришлось так резко корректировать свою позицию, но и их точка зрения несколько изменилась к концу холодной войны и Советского Союза. В истории нет простых ответов, но есть интересные вопросы. И один из них — значение такого важного и неоднозначного поворотного пункта, каким была Русская революция.

Временные рамки революции

Поскольку всякая революция представляет собой сложное социальное и политическое потрясение, историки, имеющие дело с революциями, обречены на разногласия в отношении самых фундаментальных вопросов — таких, как причины революции, ее цели, ее влияние на общество, политические последствия и даже вопрос о временных рамках революции. В случае Русской революции начальная точка не представляет собой проблемы: практически все принимают в качестве нее Февральскую революцию² 1917 г., которая привела к отречению императора Николая II и созданию Временного правительства. Но какой момент следует считать концом Русской революции? Действи-

мя даст о себе знать тенденция называть ее «Большевистским переворотом».

2. Даты до состоявшейся в 1918 г. реформы календаря приводятся по старому стилю, в 1917 г. на 13 дней отстававшему от григорианского календаря, на который Россия перешла в 1918 г.

тельно ли все закончилось к октябрю 1917 г., когда большевики пришли к власти? Или концом революции стала победа большевиков в Гражданской войне в 1920 г.? Была ли частью Русской революции сталинская «революция сверху»? Или мы должны согласиться с мнением, что революция продолжалась в течение всего существования советского государства?

Крейн Бринтон в своей «Анатомии революции» выдвинул идею о существовании у революций жизненного цикла: его первые этапы отмечены нарастанием революционного пыла и стремлением к радикальным изменениям, которые достигают максимальной интенсивности, а затем следует этап «термидорианского» разочарования, уменьшения революционной энергии и постепенного поворота к восстановлению порядка и стабильности³. Русские большевики, имея в виду ту же модель Французской революции, которая лежит и в основе анализа Бринтона, опасались термидорианского перерождения их собственной революции и в какой-то мере подозревали, что именно это произошло под конец Гражданской войны, когда полная разруха в экономике принудила их к «стратегическому отступлению», проходившему под знаком Новой экономической политики (нэпа), провозглашенной в 1921 г.

3. Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (rev. edn.; New York, 1965) [Полные названия работ, перечисленных в Избранной библиографии, приводятся в примечаниях лишь при их первом упоминании]. Согласно революционному календарю, принятому во время Французской революции, свержение Робеспьера произошло 9 термидора (27 июля 1794 г.). Соответственно, словом «Термидор» именуется и конец революционного террора, и конец героического этапа революции.

Однако в конце 1920-х гг. Россию постигло новое потрясение — сталинская «революция сверху», включавшая ускоренную индустриализацию в годы Первой пятилетки, коллективизацию сельского хозяйства и «культурную революцию», направленную в первую очередь против старой интеллигенции, — которое оказало на общество даже большее влияние, чем Февральская и Октябрьская революции 1917 г. и Гражданская война 1918–1920 гг. Лишь после того, как в начале 1930-х гг. это потрясение завершилось, стали заметными признаки классического Термидора: снижение революционного пыла и воинственности, новый политический курс, направленный на восстановление порядка и стабильности, возрождение традиционных ценностей и культуры, укрепление новой политической и социальной структуры. Но и этот Термидор не вполне покончил с революционными потрясениями. Последняя внутренняя конвульсия, еще более опустошительная, чем прежние волны революционного террора — «Большие чистки» 1937–1938 гг. — унесла жизни многих уцелевших революционеров из числа старых большевиков, привела к полной смене состава политической, управленческой и военной элиты и обрекла более миллиона человек на смерть или подневольный труд в ГУЛАГе⁴.

Если мы хотим определить временные рамки Русской революции, то первым вопросом, на который следует дать ответ, является сущность нэпа как «стратегического отступления» 1920-х гг. Служил ли нэп концом революции и воспринимался ли он в качестве такового? Хотя большевики в 1921 г. провозглашали намерение использовать эту интерлюдия для своего укрепления и после-

4. См. ниже, главу 6 (с. 300–301).

дующего возобновления революционного натиска, всегда существовала возможность того, что их намерения изменятся по мере угасания революционного пыла. По мнению некоторых исследователей, Ленин в последние годы своей жизни (он умер в 1924 г.) пришел к убеждению в том, что дальнейшее продвижение России к социализму можно осуществить лишь постепенно, по мере повышения культурного уровня населения. Тем не менее в годы нэпа русское общество оставалось крайне изменчивым и нестабильным, а у партии сохранялся агрессивный и революционный настрой. Большевики опасались контрреволюции, были озабочены угрозой со стороны внешних и внутренних «классовых врагов» и постоянно выражали свою неудовлетворенность нэпом и нежелание признавать его в качестве окончательного итога революции.

Второй вопрос, нуждающийся в рассмотрении, — природа сталинской «революции сверху», покончившей с нэпом в конце 1920-х гг. Некоторые историки отвергают идею о существовании какой-либо реальной преемственности между революцией Сталина и революцией Ленина. Другие полагают, что сталинская «революция» не заслуживает такого названия, поскольку, по их мнению, речь идет не о массовом восстании, а о чем-то вроде удара по обществу, нанесенного правящей партией, стремящейся к радикальным преобразованиям. В настоящей книге мы постараемся проследить линии преемственности между ленинской и сталинской революциями. Что касается включения сталинской «революции сверху» в рамки Русской революции, то на этот счет между историками могут существовать вполне законные разногласия. Но речь идет не о том, имеется ли сходство между 1917 и 1929 гг., а о том, были ли они этапами одного и того же про-

цесса. Революционные войны Наполеона вполне можно включить в общее определение Французской революции, даже если не относиться к ним как к воплощению духа 1789 года; аналогичный подход представляется законным и в случае Русской революции. С точки зрения здравого смысла период революции совпадает с временем потрясений и нестабильности между крахом старого режима и окончательным укреплением нового режима. В конце 1920-х гг. контуры нового режима в России оставались еще не вполне сложившимися.

Наконец, последний вопрос, требующий ответа, — следует ли считать «Большие чистки» 1937–1938 гг. составной частью Русской революции. Был ли это революционный террор, или же это был террор принципиально иного типа — скажем, тоталитарный террор, отвечающий системным целям прочно укоренившегося режима? По моему мнению, ни одно из двух этих определений не вполне годится в случае «Больших чисток». Они представляли собой уникальное явление, находящееся ровно на границе между революцией и послереволюционным сталинизмом. Риторика «Больших чисток», то, против кого они были направлены, и их лавинообразное нарастание делают их образцом революционного террора. Но в то же время это был и тоталитарный террор в том плане, что в ходе него уничтожались индивидуумы, а не структуры, и он не угрожал личности Вождя. То, что это был государственный террор, развязанный Сталиным, не выводит «Большие чистки» за рамки Русской революции: в конце концов, якобинский террор 1794 г. может быть описан аналогичным образом⁵.

5. Своими представлениями о государственном терроре я в значительной мере обязана статье: Colin Lucas, «Revo-

Другое важное сходство между двумя этими эпизодами заключается в том, что в обоих случаях уничтожались в первую очередь революционеры. «Большие чистки» должны быть включены в историю Русской революции (так же, как якобинский террор — в историю Французской революции) хотя бы чисто по драматургическим причинам.

В настоящей книге в качестве временных рамок Русской революции принят период с февраля 1917 г. до «Больших чисток» 1937–1938 гг. Ее различные этапы — Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Гражданская война, интерлюдия нэпа, сталинская «революция сверху», ее «термидорианские» последствия и «Большие чистки» — рассматриваются в качестве отдельных эпизодов 20-летнего революционного процесса. К концу этого двадцатилетия революционная энергия была полностью истрачена, общество устало и даже правящая Коммунистическая партия⁶ утомилась от потрясений и разделяла общее стремление «вернуться к нормальной жизни». Вообще говоря, вернуться к нормальной жизни не получилось, так как между «Большими чистками» и немецким вторжением, положившим начало участию Советского Союза во Второй мировой войне, прошло всего несколько лет. Война принесла с собой новые по-

lutionary Violence, the People and the Terror», in K. Baker (ed.), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. 4: *The Terror* (Oxford, 1994).

6. До 1918 г. она называлась Российской социал-демократической рабочей партией (большевиков), а после 1918 г. — Российской (позже Всесоюзной) коммунистической партией (большевиков). Наименования «большевик» и «коммунист» понимались в 1920-е гг. как взаимозаменяемые, но в 1930-е гг. коммунистов, как правило, уже не называли большевиками.

трясения, но это были не революционные потрясения — по крайней мере, в том, что касалось Советского Союза в границах до 1939 г. Они возвестили начало новой, послереволюционной эпохи в советской истории.

Историография революции

Ни одно явление не сравнится с революцией в способности провоцировать идеологические разногласия между его интерпретаторами. Например, отмечавшееся в 1989 г. 200-летие Французской революции было отмечено активными попытками некоторых исследователей и публицистов отправить революцию на свалку истории с тем, чтобы положить конец давней борьбе интерпретаций. Русская революция отличается менее объемистой историографией, хотя, возможно, лишь потому, что о Французской революции начали писать на полтора века раньше. Помещенная в конце книги Избранная библиография, где перечислены в основном недавние работы, отражает развитие западных научных представлений о Русской революции за последние 10–15 лет. Здесь я обрисую основные этапы изменения этих представлений с течением времени и дам обзор ряда классических работ, посвященных Российской революции и истории Советского Союза.

До Второй мировой войны профессиональные западные историки редко обращались к теме Русской революции. Ее события освещались в ряде превосходных описаний, составленных очевидцами, и мемуаров, из которых наиболее известна книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир»; кроме того, заслуживают внимания исто-

рические работы некоторых журналистов, включая У. Г. Чемберлена и Луиса Фишера, со знанием дела изложивших историю советской дипломатии в книге «Международные отношения и Советы», которая остается классикой и по сей день. Наиболее долгосрочное влияние на исследователей оказывали такие интерпретации, как принадлежащие перу Льва Троцкого «История русской революции» и «Преданная революция». Первая из этих книг, написанная Троцким после его высылки из Советского Союза, но не носящая характера политической полемики, представляет собой яркое описание событий 1917 г. и их марксистский анализ с точки зрения их участника. В книге «Преданная революция» — написанном в 1936 г. обличении Сталина — Троцкий называет сталинский режим термидорианским и утверждает, что он опирается на молодой класс советской бюрократии и отражает ее ценности, буржуазные по своей сути.

Из довоенных исторических работ, написанных в Советском Союзе, на почетное место следует поставить изданный в 1938 г. пресловутый «Краткий курс истории ВКП(б)», составленный при самом непосредственном участии Сталина. Как может догадаться читатель, это не научный труд, а изложение правильной «партийной линии» — то есть ортодоксальных представлений, которые следовало усвоить всем коммунистам и преподавать во всех школах, — по всем вопросам советской истории, начиная от классовой природы царского режима и причин победы Красной армии в Гражданской войне и кончая заговорами против советской власти, организованными «иудой Троцким» и поддерживавшимися иностранными капиталистическими державами. Существование таких работ, как «Краткий курс», в целом было несовместимо

с творческими научными исследованиями, посвященными советскому периоду. Советским профессиональным историкам приходилось работать в условиях жесткой цензуры и самоцензуры.

Ту интерпретацию большевистской революции, которая утвердилась в Советском Союзе в 1930-е гг. и оставалась неприкосновенной по крайней мере до середины 1950-х гг., можно описать как шаблонно марксистскую. Согласно ее ключевым постулатам, Октябрьская революция представляла собой подлинно пролетарскую революцию, в ходе которой партия большевиков играла роль пролетарского авангарда, и эта революция не являлась ни преждевременной, ни случайной, а определялась законами истории. Предполагалось, что весь ход советской истории подчиняется историческим закономерностям — весомым, но обычно нечетко сформулированным, — из чего на практике вытекало, что каждое важное политическое решение было правильным. Правдивая политическая история революции так и не была написана, поскольку все революционные вожди, за исключением Ленина, Сталина и нескольких, умерших в молодости, были объявлены предателями революции и стали «несуществующими», то есть не подлежащими упоминанию в печати. Что касается социальной истории, то она трактовалась сквозь призму классового подхода, в силу чего практически единственными действующими лицами и персонажами в ней остались рабочий класс, крестьянство и интеллигенция.

На Западе советская история стала вызывать к себе пристальный интерес лишь после Второй мировой войны — главным образом в контексте холодной войны, когда на вооружение был взят принцип «знай своего врага». Тональность при этом за-

давали два художественных произведения — книги «1984» Джорджа Оруэлла и «Слепая тьма» Артура Кестлера (посвященная «Большим чисткам» и процессам над старыми большевиками конца 1930-х гг.), но в сфере научных исследований главенствовала американская политология. Наиболее популярным подходом к интерпретации была тоталитарная модель, основанная на несколько очернительском отождествлении нацистской Германии и сталинской России. Она подчеркивала всемогущество тоталитарного государства и его «рычагов управления», уделяла значительное внимание идеологии и пропаганде и в целом пренебрегала социальной сферой (которая считалась пассивной и фрагментированной тоталитарным государством). Большинство западных исследователей сходилось на том, что большевистская революция представляла собой переворот, организованный малочисленной партией, у которой отсутствовала какая-либо массовая поддержка или легитимность. Революция — так же как, собственно говоря, и до-революционная история большевистской партии, — изучалась главным образом с целью выявить истоки советского тоталитаризма.

До 1970-х гг. лишь немногие западные историки осмеливались изучать советскую историю, включая и историю Русской революции — отчасти вследствие крайней политизированности этой темы, а отчасти вследствие огромных проблем с доступом к архивам и первичным источникам. Заслуживают упоминания две первопроходческие работы британских историков: «Большевистская революция, 1917–1923» Э.Х. Карра, с которой начинается его многотомная «История Советской России», первый том которой вышел в 1952 г., и классическая биография Троцкого, написанная Исааком

Дойчером, первый том которой, «Вооруженный пророк», был издан в 1954 г.

В самом СССР развенчание Сталина Хрущевым, произошедшее в 1956 г. на XX съезде партии, и последующая частичная десталинизация открыли дверь для некоторых исторических переоценок и повышения уровня научных работ. Стали появляться исследования о событиях 1917 и 1920-х гг., основанные на архивных источниках, хотя историки по-прежнему сталкивались с ограничениями и должны были придерживаться ряда догм — например, о статусе большевистской партии как авангарде рабочего класса. Появилась возможность упоминать имена таких «несуществующих» личностей, как Троцкий и Зиновьев, хотя исключительно в негативном контексте. «Секретный доклад» Хрущева чрезвычайно раскрепостил историков, покончив с требованием об обязательной привязке Ленина к Сталину. Из-под пера советских историков реформаторского толка вышло много книг и статей о 1920-х гг., в которых утверждалось, что «ленинские нормы» в различных сферах были более демократичными и терпимыми к разнообразию и менее насильственными и произвольными, чем практики сталинской эпохи.

Для западных читателей образцом «ленинской» тенденции 1960–1970-х гг. стал Рой Медведев, автор книги «К суду истории. О Сталине и сталинизме», изданной на Западе в 1971 г. Но прозвучавшая в ней критика Сталина была слишком острой и откровенной для атмосферы брежневских лет, и Медведев не смог издать свою книгу в Советском Союзе. Это был период расцвета «самиздата» (неофициального распространения рукописных работ в Советском Союзе) и «тамиздата» (работ, нелегально выпускавшихся за рубежом). Самым знаме-

нитым из авторов-диссидентов, заявивших о себе в те годы, был великий писатель и историк-полемист Александр Солженицын, чей «Архипелаг ГУЛАГ» был издан на английском в 1973 г.

В то время как западная аудитория в 1970-е гг. получила возможность ознакомиться с работами некоторых советских исследователей-диссидентов, западные научные труды о Русской революции по-прежнему объявлялись в Советском Союзе «буржуазными фальсификациями» и были фактически там запрещены (хотя некоторые работы, включая «Большой террор» Роберта Конквеста, находились в подпольном обращении наряду с «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына). Тем не менее положение западных историков облегчилось. Теперь они могли проводить исследования в Советском Союзе, пусть даже в условиях ограниченного и строго контролируемого доступа к архивам, в то время как прежде ситуация была настолько тяжелой, что многие западные советологи вообще никогда не бывали в Советском Союзе, а другие очень быстро изгонялись оттуда как шпионы или сталкивались со всевозможными притеснениями. Доступ к архивам и первичным источникам в Советском Союзе облегчился в конце 1970-х и 1980-х гг., благодаря чему все большее число молодых западных историков выбирало в качестве своей темы Русскую революцию и ее последствия, а в американской советологии роль господствующей дисциплины постепенно переходила от политологии к истории, особенно к социальной истории.

Новая глава в исторической науке открылась в начале 1990-х гг., когда было снято большинство ограничений на доступ к российским архивам и стали появляться первые работы, основанные на прежде засекреченных советских документах.

После окончания холодной войны сфера советской истории стала на Западе менее политизированной, что очень сильно пошло ей на пользу. Русские и прочие постсоветские историки больше не были изолированы от своих западных коллег, а прежние различия между «советской», «эмигрантской» и «западной» наукой в целом исчезли: в число авторов, чьи работы пользовались наибольшим влиянием и в России, и за ее пределами, входили проживающий в Москве, «русский» (а в реальности уроженец Украины) Олег Хлевнюк, первопроходец архивных изысканий, посвященных Политбюро, и родившийся в Москве и с 1980-х гг. проживающий в США Юрий Слезкин, чья работа «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» содержала серьезную реинтерпретацию места евреев в Русской революции и в рядах советской интеллигенции.

Издавались новые биографии Ленина и Сталина, основанные на архивных источниках, а внимание многих историков привлекали такие темы, как ГУЛАГ и массовое сопротивление, архивные изыскания по которым прежде были невозможны. В ответ на распад Советского Союза и возникновение независимых государств на основе прежних союзных республик такие ученые, как Рональд Суни и Терри Мартин, обозначили советские народы в качестве сферы исторических исследований. Процветали региональные исследования, к которым относится и посвященная уральскому городу Магнитогорску работа «Магнитная гора» Стивена Коткина, который говорил о возникновении в 1930-х гг. своеобразной советской культуры («сталинской цивилизации»), представлявшей собой косвенное порождение революции. Некоторые историки обнаружили в архивах огромные залежи

писем (жалоб, доносов, обращений) простых граждан властям, что внесло заметный вклад в быстрое развитие изысканий в сфере повседневной жизни, имеющих много общего с исторической антропологией. В противоположность 1980-м гг. (и в соответствии с общими тенденциями в исторической науке) нынешнее поколение молодых историков проявляет большой интерес не только к социальной, но и к культурной и интеллектуальной истории, используя дневники и автобиографии для освещения субъективной и индивидуальной сторон советского опыта существования.

Революция в зеркале интерпретаций

На знаменах любых революций начертаны слова *liberté, égalité, fraternité* и другие благородные лозунги. Все революционеры — пылкие энтузиасты, и все они — утописты, мечтающие о создании нового мира, в котором будут навсегда ликвидированы несправедливость, пороки и апатия старого мира. Они нетерпимы к иным мнениям, неспособны к компромиссам, заморожены грандиозными далекими целями, жестоки, подозрительны и несут в себе деструктивное начало. Революционеры не отличаются реализмом и не имеют управленческого опыта, а создаваемые ими институты и процедуры представляют собой импровизации. Поддавшись опьяняющей иллюзии, революционеры видят в себе олицетворение народной воли, откуда следует, что они считают народ монолитным. Они — манихейцы, и мир в их глазах разделен на два лагеря: света и тьмы, революции и ее врагов. Они презирают всякие традиции, общепризнанные взгляды, святыни и суеверия. По их мнению, обще-

ство — это *tabula rasa*, на которой революция может писать все, что угодно.

Революциям свойственно заканчиваться разочарованием и утратой иллюзий. Пыл испаряется, энтузиазм становится вымученным. Момент безумия⁷ и эйфории остается в прошлом. Взаимоотношения между народом и революционерами осложняются: выясняется, что воля народа не обязательно монолитна и очевидна. Возвращается искушение богатством и властью, как и понимание того, что никто не любит своего ближнего как самого себя, да и не хочет этого. В огне любой революции сгорает то, о чем люди вскоре начинают жалеть. А то, что приносят революции, оказывается гораздо меньшим и иным, чем ожидали революционеры.

Однако помимо этих общих черт, каждая революция обладает своим собственным характером. Россия занимала периферийное положение, а ее образованные классы были озабочены отсталостью страны по сравнению с Европой. Революционеры же в данном случае являлись марксистами, нередко путавшими «пролетариат» с «народом» и утверждавшими, что революция — не нравственный императив, а историческая необходимость. Революционные партии возникли в России еще до революции, а когда в разгар войны настал подходящий момент, они вступили в состязание за поддержку готовых сил народной революции (солдат, матросов, рабочих больших петроградских заводов), а не за симпатии бурлящей, порывистой, революционной толпы.

7. Это выражение заимствовано из: Aristide R. Zolberg, «Moments of Madness», *Politics & Society* 2:2 (Winter, 1972), 183–207.

В настоящей книге особое внимание уделяется трем мотивам. В качестве первого из них выступает тема модернизации — революция как средство преодоления отсталости. Роль второго играет классовая тема — революция как миссия пролетариата и его «авангарда», большевистской партии. Третий мотив — это тема революционного насилия и террора: каким образом революция расправлялась со своими врагами и какие последствия это имело для большевистской партии и советского государства.

Слово «модернизация» в эпоху, нередко называемую постмодерном, начинает отдавать архаикой. Но оно вполне уместно в нашей книге, поскольку индустриальная и техническая модернизация, к которой стремились большевики, в наше время кажется явлением безнадежно устаревшим: воплощением революционной мечты в свое время служили гигантские дымовые трубы, усеявшие просторы бывшего Советского Союза и Восточной Европы подобно стаду чадающих динозавров. Русские марксисты влюбились в индустриализацию западного типа задолго до революции; в основе их споров с народниками, разгоревшихся в конце XIX в., лежала уверенность в неизбежности капитализма (под которым в первую очередь имелась в виду капиталистическая индустриализация). В России, а затем и в «третьем мире», марксизм служил как идеологией революции, так и идеологией экономического развития.

В теории индустриализация и экономическая модернизация были в глазах русских марксистов средством для достижения конкретной цели — социализма. Но по мере того, как большевики все более четко и однозначно сосредотачивали свои усилия на этом средстве, тем более смутной, отда-

ленной и фантастической становилась цель. Когда в 1930-е гг. в широкое употребление вошло выражение «строительство социализма», его значение слабо отличалось от происходившего тогда реально-го строительства новых заводов и промышленных городов. Для коммунистов того поколения дымящие трубы, поднявшиеся над степями, служили не-преложным доказательством того, что революция победила. Как выразился Адам Улам, навязанные Сталиным темпы индустриализации, при всей их болезненности и насильственности, представляли собой «логичное дополнение марксизма, „осуществленную революцию“, а не „преданную революцию“»⁸.

Вторая тема — классовая — занимала важное место в Русской революции, потому что именно в таком качестве ее воспринимали главные действующие лица. Марксистские аналитические категории были широко распространены в рядах русской интеллигенции, и большевики вовсе не были исключением и представляли значительно более широкую группу социалистов, когда интерпретировали революцию с точки зрения классового конфликта и приписывали особую роль промышленному пролетариату. Находясь у власти, большевики считали пролетариат и беднейшее крестьянство своими естественными союзниками. Помимо этого, они видели в представителях «буржуазии» — широкой группы, в состав которой включались бывшие капиталисты, бывшие землевладельцы и чиновники из числа дворян, мелкие лавочники, крестьяне-кулаки, а в некоторых контекстах и русская интелли-

8. Adam B. Ulam, «The Historical Role of Marxism», in Adam B. Ulam, *The New Face of Soviet Totalitarianism* (Cambridge, Mass., 1963), 35.

генция, — своих естественных противников. Таких людей большевики называли «классовыми врагами», и именно те в первую очередь становились мишенью раннего революционного террора.

На протяжении многих лет предметом наиболее бурных дискуссий служил такой аспект классовой проблемы, как вопрос о том, были ли оправданы претензии большевиков на роль представителей рабочего класса. Возможно, ответить на него будет несложно, если рассматривать только лето и осень 1917 г., когда рабочий класс Петрограда и Москвы был радикализован и явно предпочитал большевиков всем прочим политическим партиям. Однако далее задача усложняется. Тот факт, что большевики пришли к власти при поддержке рабочего класса, не означает, что они пользовались этой поддержкой и далее — или, тем более, что они считали свою партию, либо до, либо после захвата власти, всего лишь рупором промышленного пролетариата.

Предъявленное большевикам обвинение в том, что они предали рабочий класс, впервые прозвучавшее во внешнем мире в связи с Кронштадтским мятежом 1921 г., было неизбежным и, скорее всего, верным. Но когда и ради кого большевики совершили это предательство и какие последствия оно имело? В эпоху нэпа большевики постарались подлатать брак с рабочим классом, почти распавшийся к концу Гражданской войны. В годы Первой пятилетки отношения между ними вновь испортились из-за снижения реальных заработков и уровня жизни в городах, а также настойчивых требований со стороны режима относительно повышения производительности труда. В 1930-е гг. произошел если не формальный развод, то фактический разрыв с рабочим классом.

Но картина этим не исчерпывается. Одно дело — положение рабочих как рабочих при советской власти, и совсем другое — открывшиеся перед рабочими возможности стать людьми более высокого сорта, перестав при этом быть рабочими. Большевики, на протяжении 15 лет после Октябрьской революции набравшие членов своей партии в первую очередь из рядов рабочего класса, в значительной степени оправдали свои заявления о том, что их партия — партия пролетариата. Кроме того, они создали широкий канал для вертикальной мобильности рабочего класса, поскольку привлечение рабочих в ряды партии шло рука об руку с выдвижением рабочих-коммунистов на «чистые» административные и управленческие должности. Во время «культурной революции» конца 1920-х гг. режим открыл еще один канал для социальной мобильности, отправив большое количество молодых рабочих и детей рабочих в высшие учебные заведения. И хотя с политикой активного «выдвижения пролетариата» в начале 1930-х гг. было покончено, она дала свои плоды. Для сталинского режима были важны не рабочие, а *бывшие* рабочие — только что сформированное «пролетарское ядро» управленческой и профессиональной элиты. Со строго марксистской точки зрения такая вертикальная мобильность рабочего класса, возможно, не представляла собой особого интереса. Но в глазах тех, кто вошел в состав элиты, их новый статус наверняка служил неопровержимым доказательством того, что революция выполнила те обещания, которые она давала рабочему классу.

Последняя сквозная тема нашей книги — тема революционного насилия и террора. Массовое насилие представляет собой неотъемлемую черту всякой революции; революционеры, как правило, от-

носятся к нему очень положительно на ранних этапах революции, но в дальнейшем начинают испытывать все более серьезные сомнения. Для современных революций также характерен террор, под которым подразумевается организованное насилие, осуществляемое революционными группами или режимами с целью запугать и устрасить население — в этом смысле образец был задан Французской революцией. Основным смысл террора с точки зрения революционеров состоит в том, чтобы уничтожить врагов революции и устранить препятствия, мешающие переменам; но дополнительной задачей террора нередко является поддержание чистоты и революционного пыла у самих революционеров⁹. Чрезвычайно важную роль в любых революциях играют враги и «контрреволюционеры». Враги противодействуют революции как скрытно, так и в открытую; они организуют путчи и заговоры и нередко носят маску революционеров.

Следуя марксистской теории, большевики концептуализовали врагов революции с классовой точки зрения. Принадлежность к дворянам, капиталистам или кулакам *ipso facto* понималась как свидетельство контрреволюционных симпатий. Большевики, подобно большинству революционеров (а возможно, и в большей степени, учитывая их довоенный опыт подпольной партийной работы и участия в конспиративных организациях), были одержимы раскрытием контрреволюционных заговоров, но марксистские воззрения придавали этой мании особую окраску. Если существуют классы, по самой своей природе враждебные ре-

9. См. об этом: Igal Halfin, *Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial* (Cambridge, Mass., 2003).

волюции, то целый социальный класс можно рассматривать как один большой вражеский заговор. Отдельные представители этого класса «объективно» могут быть контрреволюционерами-заговорщиками, даже если субъективно (то есть в своем сознании) они ничего не знают о заговоре и считают себя сторонниками революции.

Во время Русской революции большевики прибегали к террору двух типов: террору против врагов вне партии и террору против врагов в ее рядах. Террор первого типа преобладал в ранние годы революции, заглох в 1920-е гг., а затем снова ярко вспыхнул к концу десятилетия, в годы коллективизации и «культурной революции». Террор второго типа сперва маячил как возможность во время внутрипартийных фракционных баталлий, развернувшихся под конец Гражданской войны, но ему не давали хода до 1927 г., когда небольшому по своим масштабам террору подверглась «левая оппозиция».

Начиная с того момента искушение развернуть полномасштабный террор против врагов внутри партии становится вполне ощутимым. Одна из причин этого заключалась в том, что режим в значительных масштабах прибегал к террору против «классовых врагов» вне партии. Другой причиной служило то, что периодически проводившиеся партией чистки в ее собственных рядах по сути были аналогичны расчесыванию болячки. Эти чистки, проводившиеся в масштабах всей страны начиная с 1921 г., представляли собой кадровую ревизию, в ходе которой публичной оценке подвергались преданность, компетентность, происхождение и социальные связи каждого отдельного коммуниста; те, кто был сочтен недостойными, исключались из партии или переводились

из полноценных членов партии в кандидаты. Всесоюзная партийная чистка состоялась в 1929 г., еще одна — в 1933–1934 гг., а затем — после того как поддержание чистоты партийных рядов превратилось едва ли не в манию, — еще две чистки последовали друг за другом в 1935 и 1936 гг. Хотя вероятность того, что исключение из партии повлечет за собой дальнейшие наказания — такие, как арест или ссылку, — по-прежнему была относительно невысока, с каждой следующей партийной чисткой она становилась все более заметной.

Террор и партийные чистки (с маленькой буквы) в итоге вылились в грандиозные «Большие чистки» 1937–1938 гг.¹⁰ Это была не чистка в традиционном смысле, поскольку она не сопровождалась систематической ревизией партийных кадров; но в первую очередь она была направлена против членов партии, особенно тех, которые занимали высокие официальные должности, хотя аресты и страх быстро охватили и непартийную интеллигенцию и, в меньшей степени, население в целом. Во время «Больших чисток», которые правильнее

10. Название «Большие чистки» имеет не советское, а западное происхождение. На протяжении многих лет в русском языке не существовало приемлемого публичного способа ссылаться на эти события, поскольку официально их никогда не было; в частных разговорах в их отношении использовалось косвенное понятие «1937 год». Терминологическая путаница между «чистками» и «Большими чистками» проистекает из советской практики использования эвфемизмов: когда в 1939 г. XVIII съезд партии положил конец террору, как бы отрекшись от него, формально партия отрекалась от «массовых чисток», хотя в реальности после 1936 г. партийных чисток в строгом смысле слова не производилось. Этот эвфемизм некоторое время существовал в русском языке, но вскоре исчез, в то время как в английском он прижился.

было бы называть «Большим террором»¹¹, подозрение нередко оказывалось равнозначно осуждению, доказательства преступных деяний считались излишними, а роль наказания за контрреволюционные преступления играли смерть и заключение в трудовых лагерях. Сходство между этими событиями и террором времен Французской революции бросалось в глаза многим историкам — так же, как, очевидно, и организаторам «Больших чисток», поскольку понятие «враги народа» (так в период «Больших чисток» называли лиц, объявленных контрреволюционерами), было позаимствовано у якобинцев с их террористическим режимом. Значение этого показательного исторического заимствования изучается в последней главе.

Замечания по третьему изданию

Как и предыдущие издания настоящей книги, данное издание по сути описывает историю Русской революции с точки зрения того, чем она была для России, а не для нерусских территорий, входивших в состав бывшей Российской империи и Советского Союза. Эта оговорка становится еще более важной сейчас, когда нерусские территории и народы стали областью активных исследований, дающих ценные результаты. В том, что касается ключевой темы настоящей книги, ее третье издание учитывает новые материалы, ставшие доступными после 1991 г., а также текущее состояние международных исследований. В то время как аргументация книги и ее структура не претерпели серьезных изме-

11. Такое название носит классическая работа Роберта Конквеста, посвященная данной теме.

нений, мною сделан ряд небольших поправок, отражающих новую информацию и новые научные интерпретации. В сносках я привлекаю внимание читателя к важным недавним (и более старым) англоязычным работам, а также к русским работам, существующим в английском переводе, в то время как цитирование русскоязычных работ и документов сведено к минимуму. Роль краткого руководства к дальнейшему чтению по данной теме играет Избранная библиография.

В преддверии революции

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Россия была одной из великих европейских держав. Но она традиционно считалась отсталой великой державой по сравнению с Великобританией, Германией и Францией. В экономическом плане это означало, что она с запозданием вышла из феодализма (крепостная зависимость крестьян от помещиков или от государства была отменена только в 1860-х гг.) и запаздывала с индустриализацией. В политическом плане это означало, что в стране до 1905 г. не существовало легальных политических партий и центрального выборного парламента, а властные полномочия самодержавия не сокращались с течением времени. Российские города не имели традиций политической организации и самоуправления, а у русского дворянства так и не сложилось чувства корпоративной идентичности, достаточно сильного для того, чтобы вырвать у трона уступки. Юридически граждане России по-прежнему делились на «сословия» (мещане, крестьяне, духовенство и дворяне), хотя в этой сословной системе не находилось места для новых социальных групп, таких как лица свободных профессий и городской пролетариат, и лишь у духовенства сохранялись черты замкнутой касты.

Три десятилетия перед революцией 1917 г. были отмечены не ухудшением экономического состояния страны, а ростом национального богатства;

именно на этот период приходится первый в истории России экономический рывок, ставший результатом проводившейся правительством политики индустриализации, иностранных инвестиций, модернизации банковской и кредитной структуры и скромного развития отечественной предпринимательской активности. Крестьянство, на момент революции по-прежнему составлявшее 80% населения России, не ощущало заметного улучшения своего экономического положения. Однако вопреки утверждениям некоторых современников, почти наверняка не наблюдалось и его постепенного ухудшения.

Как с досадой понимал последний русский царь Николай II, самодержавие проигрывало битву с подрывными либеральными веяниями, приходившими с Запада. Курс политических изменений — к чему-то вроде западной конституционной монархии — представлялся ясным, хотя многих представителей образованных классов выводили из себя неспешность перемен и упрямый обструкционизм со стороны самодержавия. После революции 1905 г. Николай пошел на уступки и учредил общенациональный выборный парламент — Думу; одновременно были легализованы политические партии и профсоюзы. Но сохранявшийся произвол самодержавной власти и действия тайной полиции подрывали значение этих уступок.

После произошедшей в октябре 1917 г. большевистской революции многие русские эмигранты вспоминали предреволюционные годы как золотой век прогресса, беспричинно прерванный (как им казалось) Первой мировой войной, неуправляемыми массами или большевиками. Прогресс был, но он в значительной мере способствовал нестабильности общества и повышал вероятность по-

литических потрясений: чем быстрее изменяется общество (независимо от того, носят ли эти изменения прогрессивный или реакционный характер), тем меньше, как правило, его стабильность. При изучении великой литературы предреволюционной России бросается в глаза, что самыми яркими в ней были образы неприкаянности, отчуждения и невозможности управлять своей судьбой. В XIX в. Николаю Гоголю Россия виделась тройкой, мчащейся во тьме неизвестно куда. Думскому политику Александру Гучкову, в 1916 г. осуждавшему Николая II и его министров, она представлялась несущимся по краю пропасти автомобилем, которым управляет безумный водитель, в то время как перепуганные пассажиры спорят о том, стоит ли рискнуть и попытаться отобрать у него руль. В 1917 г. они рискнули, и Россия, очертя голову летевшая вперед, нырнула в революцию.

Российское общество

Российская империя занимала обширную территорию, простираясь от Польши на западе до Тихого океана на востоке, на севере заходя за полярный круг, а на юге достигая Черного моря и границ Турции и Афганистана. В ядре империи, европейской России (включая некоторые регионы, входящие сейчас в состав Украины), в 1897 г. проживало 92 млн человек, а общее население империи по данным проведенной в том году переписи составляло 126 млн человек¹. Но даже европейская Россия и относительно развитые западные части

1. Frank Lorimer, *The Population of the Soviet Union* (Geneva, 1946), 10, 12.

империи в целом оставались аграрными и неурбанизированными территориями. В стране насчитывалось совсем немного крупных промышленных городов, в большинстве своем представлявших собой порождение недавнего и стремительного роста: столица империи — Санкт-Петербург, переименованный во время Первой мировой войны в Петроград, а в 1924 г. — в Ленинград; Москва — прежняя и будущая (с 1918 г.) столица; Киев, Харьков, Одесса, а также новые горнопромышленные и металлургические центры Донбасса, в современной Украине; Варшава, Лодзь и Рига на западе; наконец, Ростов и нефтепромышленный город Баку на юге. Но большинство русских провинциальных городов в начале XX в. все еще оставались сонными заводами — местными административными центрами с небольшим купеческим населением, несколькими школами, крестьянским рынком и, возможно, железнодорожной станцией.

На селе во многом сохранялся традиционный образ жизни. Земля по-прежнему находилась во владении крестьянских общин и была нарезана узкими полосами, которые независимо друг от друга обрабатывались отдельными крестьянскими домохозяйствами; во многих деревнях мир (крестьянский совет) по-прежнему периодически производил перераспределение наделов с целью сохранять равенство между домохозяйствами. Широко применялись деревянные плуги, современные аграрные технологии были на селе неизвестны, а производительность крестьянского сельского хозяйства лишь немногим превышала уровень, необходимый для выживания. Крестьянские избы лепились вдоль деревенской улицы, крестьяне спали на печи, скот содержался в жилых помещениях и сохранялась старая патриархальная структура крестьянской се-

мы. От эпохи крепостничества крестьян отделяло немногим более одного поколения; те из крестьян, которые на рубеже веков находились в бо-летнем возрасте, в 1861 г., когда они получили свободу, были молодыми людьми.

Разумеется, упразднение крепостного права изменило жизнь крестьян, но его отменяли осторожно, чтобы свести перемены к минимуму и растянуть их на большой срок. При крепостном праве крестьяне обрабатывали свой надел, а также землю помещика, либо выплачивали ему эквивалентную денежную сумму — оброк. Получив свободу, они по-прежнему обрабатывали свою землю, а иногда работали по найму на земле своих бывших хозяев, и в то же время государство взимало с них «выкупные» платежи в порядке погашения своих разовых выплат помещикам, служивших компенсацией за переданную крестьянам землю. Выкупные платежи были рассрочены на 49 лет (хотя в реальности государство отменило их за несколько лет до истечения этого срока), а коллективную ответственность за долги всех своих членов несла крестьянская община. Это означало, что крестьяне по-прежнему были прикреплены к деревне, хотя причиной этого служили их долги и коллективная ответственность мира, а не крепостное право. Условия, на которых освобождались крестьяне, были призваны предотвратить массовый наплыв крестьян в города и возникновение безземельного пролетариата, который представлял бы собой угрозу для общественного порядка. Кроме того, они по сути укрепляли общину и прежнюю систему общинного землевладения, практически лишая крестьян возможности собрать воедино свои наделы, увеличить их площадь или повысить их качество, либо перейти в ряды независимых мелких фермеров.

В то время как окончательное переселение из деревни в город в первые десятилетия после отмены крепостного права было затруднено, крестьяне без проблем могли временно покинуть свои деревни и работать по найму в сельском хозяйстве, на стройках, в шахтах и в городах. Собственно говоря, такая работа была необходима для многих крестьянских семей, нуждавшихся в деньгах для того, чтобы платить налоги и производить выкупные платежи. Крестьяне, становившиеся сезонными рабочими (отходниками), нередко покидали родные села на многие месяцы, оставляя полевые работы на своих родных. Если им предстоял долгий путь — как, например, обстояло дело в случае крестьян из центральной России, отправлявшихся на работу в шахты Донбасса, — то отходники порой возвращались лишь к жатве и, возможно, к весеннему севу. Практика отходничества существовала уже давно, особенно в малоплодородных регионах европейской России, где помещики требовали от своих крепостных выплачивать оброк, а не работать на барщине. Но в конце XIX — начале XX в. эта практика получала все большее распространение — в частности, из-за того, что в городах требовалось все больше рабочих рук. В годы, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне, ежегодно около 9 млн крестьян брали паспорта, чтобы уходить на сезонную работу за пределами своих родных сел, и почти половина из них не занималась сельским хозяйством².

В ситуации, когда в каждом втором крестьянском домохозяйстве в европейской России кто-либо из членов семьи был отходником (а в Петер-

2. А.Г. Рашин, *Формирование рабочего класса России* (Москва, 1958), 328.

бургском и Центральном промышленном регионах и в западных губерниях эта доля была еще выше), представление о том, что старая Россия сохранилась в деревне в почти неизменном виде, вполне могло быть обманчивым. По сути, многие крестьяне стояли одной ногой в традиционном сельском мире, а второй — в совершенно ином мире современного промышленного города. Та степень, в которой крестьяне продолжали существовать в традиционном мире, была разной в зависимости не только от географического положения, но и от возраста и пола. Молодежь была более склонна заниматься отходничеством, а кроме того, молодые люди вступали в контакт с более современным миром, когда их призывали на воинскую службу. Наоборот, женщины и пожилые крестьяне чаще были знакомы только с деревней и со старым крестьянским образом жизни. Эти различия в жизненном опыте четко проявились в данных по грамотности, полученных в ходе переписи 1897 г. Уровень грамотности у молодежи был намного выше, чем у стариков, у мужчин — выше, чем у женщин, а в малоплодородных регионах европейской России — то есть в тех регионах, где сезонные миграции были наиболее распространены, — грамотность была выше, чем в плодородном Черноземном регионе³.

Городской рабочий класс оставался очень близок к крестьянству. Численность промышленных рабочих, не имевших иных занятий (в 1914 г. составлявшая немногим более 3 млн человек), была ниже численности крестьян, ежегодно отправлявшихся из своих деревень на несельскохозяйственные сезонные работы, и по сути было практически

3. Barbara A. Anderson, *Internal Migration during Modernization in Late Nineteenth-Century Russia* (Princeton, NJ, 1980), 32–8.

невозможно провести четкую грань между рабочими, постоянно жившими в городах, и крестьянами, трудившимися в городах большую часть года. Даже многие из рабочих по-прежнему имели наделы в деревне и у многих там оставались жены и дети; другие рабочие сами жили в деревне (такой обычай был особенно распространен в Подмосковье) и ежедневно ездили оттуда на свои заводы. Лишь в Санкт-Петербурге значительная доля индустриальной рабочей силы порвала всякие связи с деревней.

Главной причиной сохранения тесной связи между городским рабочим классом и крестьянством было то, что стремительная индустриализация России представляла собой очень молодое явление. Крупномасштабный рост промышленного производства и развитие городов начались в России лишь в 1890-е гг. — на полвека с лишним позже, чем в Великобритании. При этом возникновению постоянного городского рабочего класса все равно препятствовали условия, на которых в 1860-е гг. были освобождены крестьяне, по-прежнему привязывавшие их к селу. Значительную часть российского рабочего класса составляли рабочие в первом поколении, преимущественно из числа крестьян; с другой стороны, число рабочих и горожан, принадлежавшие к третьему и более ранним поколениям, было совсем незначительным. Хотя советские историки утверждают, что накануне Первой мировой войны более 50% промышленного пролетариата были рабочими по крайней мере во втором поколении, эта цифра явно включает рабочих и крестьян-отходников, чьи отцы тоже были отходниками.

Несмотря на такие признаки отсталости, российская промышленность к началу Первой мировой войны в некоторых отношениях была вполне

передовой. Современный промышленный сектор был невелик, но при этом имел необычайно высокую концентрацию — как географическую (в первую очередь в Московском и Петербургском регионах и в украинском Донбассе), так и в смысле размеров промышленных предприятий. Как указывает Гершенкрон, сравнительная отсталость имела свои преимущества: с запозданием приступив к индустриализации и имея подмогу в виде крупномасштабных зарубежных инвестиций и энергичного содействия со стороны государства, Россия смогла перескочить через ряд ранних этапов, заимствуя относительно передовые технологии и быстро идя к крупномасштабному современному производству⁴. На таких предприятиях, как знаменитый Путиловский металлообрабатывающий и машиностроительный завод в Петербурге и металлургические заводы Донбасса, по большей части находившиеся в зарубежной собственности, трудились тысячи рабочих.

Согласно марксистской теории, промышленному пролетариату, имеющему высокую концентрацию, в условиях передового капиталистического производства будут присущи революционные наклонности, тогда как предмодерному рабочему классу, сохраняющему тесные связи с крестьянством, это не свойственно. Таким образом, русский рабочий класс обладал противоречивыми чертами с точки зрения марксистских представлений о революционном потенциале. Тем не менее эмпирические данные за период с 1890-х до 1914 г. ука-

4. Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (Cambridge, Mass., 1962), 5–30; Александр Гершенкрон, *Экономическая отсталость в исторической перспективе* (Москва, 2015), 59–92.

зывают на то, что русский рабочий класс, даже будучи тесно связан с деревней, отличался чрезвычайной воинственностью и революционностью. Обычным делом были массовые забастовки, рабочие сплоченно противостояли заводской администрации и государству, а их требования обычно носили не только экономический, но и политический характер. Во время революции 1905 г. рабочие Санкт-Петербурга и Москвы создавали свои собственные революционные органы власти — советы — и продолжали борьбу после конституционных уступок, сделанных царем в октябре, и примирения либерального среднего класса с самодержавием. Летом 1914 г. пролетарское забастовочное движение в Петербурге и других местах приобрело такой угрожающий размах, что, по мнению некоторых наблюдателей, правительство опасалось объявлять всеобщую мобилизацию.

Такую высокую зараженность российского рабочего класса революционными настроениями можно объяснять по-разному. Во-первых, ограничиваться требованиями экономических уступок со стороны нанимателей — Ленин называл это тред-юнионизмом — в российских условиях было весьма затруднительно. Государство было очень заинтересовано в развитии отечественной российской промышленности и в защите иностранных инвестиций, и потому без всяких проволочек применяло войска в тех случаях, когда забастовки на частных предприятиях угрожали выйти из-под контроля. По этой причине даже экономические забастовки (протесты против уровня оплаты и условий труда) часто перерастали в политические; к аналогичному результату приводило и массовое недовольство русских рабочих иностранными управляющими и техническим персоналом. Хотя именно русский

марксист Ленин утверждал, что рабочий класс сам по себе способен выработать лишь «тред-юнионистское», но не революционное самосознание, история российского рабочего движения (в отличие от западноевропейского) опровергает его слова.

Во-вторых, крестьянский компонент в составе российского рабочего класса, вероятно, лишь повышал, но не снижал его революционность. Русские крестьяне по своей природе не были консервативными мелкими собственниками, в отличие, например, от французских крестьян. Присущие русскому крестьянству традиции кровавых, анархических бунтов против помещиков и властей, нашедшие выражение в великом пугачевском восстании 1770-х гг., снова ярко проявились во время крестьянских волнений 1905–1906 гг.: произошедшее в 1861 г. освобождение крестьян не привело к угасанию их бунтарского духа, поскольку они не считали его ни справедливым, ни полноценным, и в условиях возраставшего земельного голода силой утверждали свое право на отобранную у них землю. Более того, крестьяне, переселявшиеся в города и становившиеся рабочими, нередко были молодыми людьми, освободившимися от семейных сдержек, но еще не привыкшими к фабричной дисциплине и носившими в себе обиды и недовольство, порожденные неприкаянностью и неполной ассимиляцией в незнакомом окружении⁵. Российский рабочий класс в некоторой степени был революционным просто потому, что еще не успел выработать в себе «тред-юнионистское самосознание», о котором писал Ленин — стать оседлым промыш-

5. О крестьянском бунтарстве и пролетарской революционности см.: Leopold Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917», *Slavic Review*, 23, no. 4 (1964), 633–7.

ленным пролетариатом, способным защищать свои интересы нереволюционными средствами и осознающим наличие возможностей для вертикальной мобильности, которые открываются в современном городском обществе перед теми, кто имеет образование и обладает квалификацией.

Однако «современный» характер российского общества, пусть даже в городском секторе и в верхних образованных слоях, по-прежнему отличался большой неполнотой. Нередко утверждается, что в России не было среднего класса; и действительно, ее деловой и торговый класс оставался относительно слабым, хотя в стране существовали свободные профессии, ассоциации и другие признаки зарождающегося гражданского общества⁶. Несмотря на все возраставшую профессионализацию государственной бюрократии, в ее верхушке по-прежнему преобладали дворяне — традиционный служилый класс империи. Служебные привилегии приобретали для дворянства особую важность вследствие его экономического упадка как землевладельческой группы после отмены крепостного права: лишь незначительное меньшинство дворян-землевладельцев успешно перешло к ведению капиталистического, рыночно-ориентированного сельского хозяйства.

Хорошей иллюстрацией к шизоидной природе русского общества в начале XX в. служит поразительное разнообразие вариантов самоидентификации в адресных книгах Санкт-Петербурга, самого крупного и самого современного из российских городов. Некоторые абоненты соблюдали тради-

6. См.: *Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia*, ed. Edith W. Clowes, Samuel D. Kassow, and James L. West (Princeton, NJ, 1991).

цию и использовали для идентификации свое сословие и чин («потомственный дворянин», «купец первой гильдии», «почетный гражданин», «статский советник»). Другие явно принадлежали к новому миру и описывали себя через свою специальность и род занятий («биржевой маклер», «инженер-механик», «директор компании»; встречались и такие обозначения, свидетельствовавшие о достижениях России в области женской эмансипации, как «женщина-врач»). В третью группу входили лица, не вполне точно представлявшие себе, в каком мире им место: в адресной книге одного года они указывали свое сословие, а в книге следующего года — профессию, либо ссылались на то и другое одновременно, как поступил один абонент, причудливо обозначивший себя как «дворянин, дантист»⁷.

В менее формальных контекстах образованные русские нередко называли себя представителями интеллигенции. С точки зрения социологии это очень расплывчатое понятие, но в широком плане словом «интеллигенция» обозначалась вестернизированная образованная элита, отчужденная от остальной части русского общества своим образованием, а от самодержавного российского режима — своей радикальной идеологией. Однако русская интеллигенция считала себя не элитой, а скорее бесклассовой группой, которую объединяли чувство моральной ответственности за улучшение общества, способность к «критическому мышлению» и, в частности, критическое, полу-оппозиционное отношение к правящему режиму.

7. Альфред Рибер называл русское общество, в котором сосуществовали старые и новые формы социальной идентификации, «осадочным» (sedimentary); см.: Alfred Rieber, «The Sedimentary Society», in *Between Tsar and People*, 343–66.

Этот термин получил широкое распространение примерно в середине XIX в., но корни этого понятия восходят к концу XVIII в., когда дворянство было освобождено от обязательной государственной службы и некоторые его представители, образованные, но считающие, что их образование не находит себе достаточного применения, выработали альтернативный этос, требовавший «служения народу»⁸. В идеале (который далеко не всегда воплощался на практике) принадлежность к интеллигенции была несовместима с бюрократической службой. Русское революционное движение второй половины XIX в., главным образом представленное мелкими подпольными группировками, ставившими своей целью свержение самодержавия и, соответственно, освобождение народа, в основном представляло собой порождение радикальной идеологии интеллигенции и ее политической неудовлетворенности.

К концу столетия, когда широкое распространение престижных свободных профессий открыло перед образованными русскими более широкую сферу приложения их сил, заявление о принадлежности к интеллигенции нередко подразумевало относительно пассивную либеральную позицию, а не активную революционную деятельность, направленную на политические изменения. Тем не менее новый класс лиц свободных профессий в достаточной мере унаследовал от прежней интеллигенции традицию симпатии и уважения к убежденным революционерам при отсутствии симпатии к режиму, даже в тех случаях, когда его представители пытались проводить реформатор-

8. См.: Marc Raeff, *Origins of the Russian Intelligentsia. The Eighteenth-Century Nobility* (New York, 1966).

скую политику или погибали от рук революционеров-террористов.

Более того, некоторые виды профессиональной деятельности было особенно трудно совместить с безоговорочной поддержкой самодержавия. Например, адвокатская профессия была обязана своим расцветом проведенной в 1860-х гг. реформе юридической системы, но в долгосрочном плане итоги реформ оказались довольно скромными в том, что касалось закрепления правовых норм в русском обществе и органах власти, особенно в период реакции, последовавший за убийством императора Александра II группой революционеров-террористов в 1881 г. Адвокаты, чье образование внушало им убеждение в необходимости правовых норм, как правило, осуждали административный произвол, полицейское самовластье и попытки государства повлиять на работу органов правосудия⁹. Аналогичная враждебность по отношению к режиму была свойственна и земствам, выборным органам местного самоуправления, в институциональном плане слабо связанным с государственной бюрократией и нередко конфликтовавшим с ней. В начале XX в. на службе в земствах находилось около 70 тыс. лиц свободных профессий (врачей, учителей, агрономов и т. д.), известных своими радикальными настроениями.

Инженеры и другие технические специалисты, работавшие на государство или на частные предприятия, не имели таких очевидных причин для

9. См. обсуждение в: Richard S. Wortman, *The Development of a Russian Legal Consciousness* (Chicago, 1976), 286–269 и далее. О Великих реформах вообще см.: *Russia's Great Reforms, 1855–1881*, ed. Ben Eklof, John Bushnell and Larissa Zakharova (Bloomington, Ind., 1994).

противостояния режиму, особенно учитывая энергичную поддержку, которую в 1890-е гг. оказывало экономической модернизации и индустриализации министерство финансов во главе с Сергеем Витте, а впоследствии — министерство торговли и промышленности. Более того, Витте прикладывал все усилия к тому, чтобы обеспечить поддержку самодержавия и его курса на модернизацию со стороны российских технических специалистов и предпринимателей; но проблема состояла в том, что восторженное отношение Витте к экономическому и техническому прогрессу явно не разделялось значительной частью российской бюрократической элиты и вызывало неприятие лично у императора Николая II. Лица свободных профессий и предприниматели, выступавшие за модернизацию, в принципе могли и не возражать против идеи самодержавной власти (хотя в реальности многие из них питали оппозиционные настроения вследствие своего контакта с радикальной политикой в бытность студентами политехнических институтов). Однако им было очень сложно увидеть в *царском* самодержавии эффективную модернизационную силу: его послужной список в этой области был слишком неоднозначным, а его политическая идеология слишком явно отражала в себе ностальгию по прошлому вместо каких-либо внятных представлений о будущем.

Революционные традиции

Задача, которую взяла на себя русская интеллигенция, заключалась в усовершенствовании России — сперва путем разработки планов будущего социального и политического устройства страны, а затем,

по возможности, путем шагов, направленных на их воплощение в реальности. Эталоном российского будущего служило западноевропейское настоящее. Русские интеллектуалы могли признавать или отвергать те или иные аспекты европейской жизни, но все они входили в повестку дня российских дискуссий и все были кандидатами на включение в планы будущего для России. В третьей четверти XIX в. одной из ключевых тем для обсуждения была западноевропейская индустриализация и ее социальные и политические последствия.

Согласно одной точке зрения, капиталистическая индустриализация на Западе влекла за собой деградацию людей, обнищание народных масс и разрушение ткани общества, и потому ее следовало любой ценой избегать в России. Радикальных интеллектуалов, разделявших эти взгляды, в ретроспективе зачисляют в «народники», хотя этот ярлык подразумевает существование более или менее сплоченной организации, которой не существовало в реальности (первоначально он использовался русскими марксистами с целью отмежеваться от различных групп интеллигенции, не согласных с ними). Фактически народничество представляло собой основное направление русской радикальной мысли в 1860-х — 1880-х гг.

Русская интеллигенция в целом считала социализм (в понимании европейских социалистов-домарксистов, особенно французских «утопистов») наиболее желательной формой социальной организации, хотя он и не считался несовместимым с признанием либерализма как идеологии политических изменений. Кроме того, интеллигенция откликалась на свою социальную изоляцию страстным желанием преодолеть разрыв между собой и «народом». Такое течение интеллигентской мыс-

ли, как народничество, сочетало в себе неприязнь к капиталистической индустриализации с идеализацией русского крестьянства. Народники полагали, что капитализм оказывает деструктивное воздействие на традиционные сельские общины в Европе, сгоняя крестьян с земли и вынуждая их переселяться в города в качестве безземельного и эксплуатируемого промышленного пролетариата. Они хотели уберечь от пагубного воздействия капитализма традиционную русскую форму сельской организации — крестьянскую общину, или мир, считавшуюся эгалитарным институтом, может быть, даже пережитком первобытного коммунизма, — который даст России возможность прийти к социализму своим собственным путем.

В начале 1870-х гг. идеализация крестьянства интеллигенцией и ее разочарование собственным положением и перспективами политической реформы привели к спонтанному массовому движению, наиболее ярко воплотившему в себе народнические чаяния, — «хождению в народ» 1873–1874 гг. Тысячи студентов и представителей интеллигенции покидали города и отправлялись в деревню, порой видя в себе просветителей крестьянства, порой более скромно пытаясь приобщиться к простой народной мудрости, а порой с надеждой на ведение организационной и пропагандистской революционной работы. У этого движения отсутствовало как центральное руководство, так и — в том, что касается большинства его участников — четко обозначенные политические цели: по духу это было скорее религиозное паломничество, чем политическая кампания. Но увидеть это было сложно как самим крестьянам, так и царской полиции. Власти были сильно встревожены и производили массовые аресты. Крестьяне относились к своим незва-

ным гостям с подозрением, видя в них отпрысков дворянства и возможных классовых врагов, и нередко выдавали их полиции. Это поражение привело к глубокому разочарованию в среде народников. Их решимость служить народу не ослабла, но некоторые считали себя обреченными на трагическую участь изгоев, отчаянных революционеров, чьи героические деяния будут оценены лишь после их смерти. Конец 1870-х гг. был отмечен всплеском революционного терроризма, вызванного отчасти желанием народников отомстить за своих арестованных товарищей, а отчасти довольно отчаянной надеждой на то, что точный удар приведет к разрушению всей самодержавной российской надстройки, после чего освобожденный русский народ сможет сам определить свою судьбу. В 1881 г. группе террористов-народников «Народная воля» удалось убить императора Александра II. Это привело не к гибели самодержавия, а лишь к его испугу и, как следствие, к более репрессивной государственной политике, росту произвола и беззакония и созданию чего-то, похожего на полицейское государство эпохи Нового времени¹⁰. Реакция народа на убийство царя включала антисемитские погромы на Украине и ходившие по русским селам слухи, что дворяне убили царя из-за того, что он освободил крестьян.

Лишь в 1880-е гг., на волне двух этих поражений народников, в среде русской интеллигенции сложилась отдельная группа марксистов, отвергавших утопический идеализм, тактику террора и ориентацию на крестьянство, прежде характерные для революционного движения. Вследствие сложив-

10. См. аргументацию в: Ричард Пайпс, *Россия при старом режиме* (Москва, 2004), гл. 10.

шегося в России неблагоприятного политического климата и своей неприязни к террору марксисты первоначально были более известны участием в интеллектуальных дискуссиях, чем революционными акциями. Они утверждали, что в России неизбежна капиталистическая индустриализация и что крестьянская община, уже разлагавшаяся изнутри, до сих пор не развалилась лишь благодаря государству и возложенной на нее государством ответственности по сбору налогов и выкупных платежей. По их мнению, капитализм представлял собой единственный возможный путь к социализму, а промышленный пролетариат, порожденный капиталистическим развитием, был единственным классом, способным осуществить подлинно социалистическую революцию. Они полагали, что эти предпосылки можно научно доказать, ссылаясь на объективные законы исторического развития, изложенные Марксом и Энгельсом в своих произведениях. Марксисты насмехались над теми, кто выбирал социализм в качестве своей идеологии вследствие его этической предпочтительности (разумеется, именно так и обстояло дело, но главное было не в этом). Главным в социализме было то, что он, подобно капитализму, объявлялся предсказуемым этапом развития человеческого общества.

Карл Маркс, старый европейский революционер, инстинктивно аплодировавший борьбе «Народной воли» с русским самодержавием, считал ранних русских марксистов, которые сгруппировались вокруг находившегося в эмиграции Георгия Плеханова, слишком пассивными и педантичными — революционерами, довольствовавшимися написанием статей об исторической неизбежности революции, в то время как другие сражаются и кладут свою жизнь ради нее. Однако русская ин-

теллигенция воспринимала их иначе, потому что одно из научных предсказаний марксистов быстро оправдалось: они говорили, что индустриализация России *неизбежна*, и в 1890-е гг. под энергичным руководством Витте так и случилось. Правда, за этой индустриализацией стояло не только спонтанное капиталистическое развитие, но и государственное содействие и зарубежные инвестиции, так что в этом смысле Россия действительно шла иным путем по сравнению с Западом¹¹. Но современникам стремительная индустриализация России казалась драматическим доказательством того, что предсказания марксистов верны и что марксизм в состоянии дать ответ по крайней мере на некоторые из «великих вопросов», волновавших русскую интеллигенцию.

Марксизм в России — как и в Китае, Индии и других развивающихся странах, — имел несколько иной смысл, чем в промышленных странах Западной Европы. Он представлял собой не только идеологию революции, но и идеологию модернизации. Даже Ленин, которого едва ли можно обвинить в революционной пассивности, сделал себе имя в качестве марксиста внушительной работой «Развитие капитализма в России», представлявшей собой и анализ, и оправдание процесса экономической модернизации; аналогичные работы вышли из-под пера буквально всех ведущих русских марксистов того поколения. Вообще говоря, оправдание модернизации подается у Ленина в марксистском духе («Я же вам говорил», а не «Я выступаю за...»), и это может удивить современных читателей, знающих Ленина исключительно как ре-

11. См. о соответствующих прогнозах народников: Gerschenkron, *Economic Backwardness*, 167–173.

волюционера-антикапиталиста. Но капитализм был «прогрессивным» явлением в глазах марксистов из России — отсталого общества, в конце XIX в. остававшегося, согласно марксистскому определению, полуфеодальным. В идеологическом плане марксисты выступали за капитализм, потому что он был необходимым этапом на пути к социализму. Но еще более глубокими были эмоциональные корни увлечения русских марксистов капитализмом: они преклонялись перед современным, индустриальным, городским миром и возмущались отсталостью старой сельской России. Различные авторы неоднократно указывали на то, что Ленин — революционный активист, желавший подтолкнуть историю в верном направлении, — был неортодоксальным марксистом, не вполне чуждым революционному волюнтаризму в старом народническом духе. Это верно, но относится главным образом к его поступкам уже в ходе собственно революции — сперва около 1905 г., а затем в 1917 г. В 1890-е гг. он предпочел марксизм народничеству, потому что выступал за модернизацию; и этот принципиальный выбор проясняет многое в Русской революции после того, как Ленин и его партия пришли к власти в 1917 г.

В ходе первоначальных споров с народниками по поводу капитализма марксисты сделали еще один важный выбор: они отдали предпочтение городскому рабочему классу как источнику поддержки и основной потенциальной революционной силе в России. И это отличало их от прежней российской революционной интеллигенции с ее традициями (носителями которых выступали народники, а впоследствии созданная в самом начале XX века Партия социалистов-революционеров (эсеров)) безответной любви к крестьянству.

В этом плане марксисты отличались и от либералов (в число которых входил и ряд бывших марксистов), чье освободительное движение заявило о себе в качестве политической силы незадолго до 1905 г.: либералы возлагали свои надежды на «буржуазную» революцию и пользовались поддержкой со стороны молодого класса лиц свободных профессий и либерального земства.

Первоначально выбор, сделанный марксистами, казался не слишком многообещающим: рабочий класс имел незначительную численность в сравнении с крестьянством, а по сравнению с высшими городскими классами отличался ничтожностью статуса, образовательного уровня и финансовых ресурсов. Первые контакты марксистов с рабочими носили по сути просветительский характер и сводились к кружкам, в которых интеллигенция передавала рабочим знания общего характера вкупе с зачатками марксизма. Историки по-разному оценивают тот вклад, который эти кружки внесли в развитие революционного рабочего движения¹². Но царские власти относились к этой политической угрозе со всей серьезностью. Согласно полицейскому донесению от 1901 г.¹³,

Агитаторы, стремясь к достижению своих целей, к сожалению, достигли определенных успехов в попытках организовать рабочих на борьбу с государством. За последние три-четыре года беззаботный русский молодой человек превратился в полуграмотного интеллиген-

12. Негативную оценку см.: Richard Pipes, *Social Democracy and the St Petersburg Labor Movement, 1885-1897* (Cambridge, Mass., 1963); более позитивная оценка дается в: Allan K. Wildman, *The Making of a Workers' Revolution. Russian Social Democracy, 1891-1903* (Chicago, 1967).

13. Цит. по: Sidney Harcave, *First Blood. The Russian Revolution of 1905* (New York, 1964), 23.

та особого типа, считающего своим долгом отрицать семью и религию, проявлять неуважение к закону и не признавать и высмеивать законные власти. К счастью, такие молодые люди немногочисленны на фабриках, но эта ничтожная кучка угрозами заставляет инертное большинство рабочих следовать за собой.

Марксисты имели явное преимущество перед прежними группами революционной интеллигенции, пытавшимися наладить контакт с народом: они нашли ту прослойку народа, которая была готова их слушать. Хотя русские рабочие недалеко ушли от крестьянства, они были намного более грамотной группой и по крайней мере некоторые из них прониклись современным, городским представлением о возможности «улучшить свою участь». Образование служило еще и средством вертикальной социальной мобильности, а не только путем к революции, осознаваемым и революционной интеллигенцией, и полицией. Учителя-марксисты, в отличие от прежних народников, пытавшихся вести миссионерскую работу среди крестьянства, могли предложить своим ученикам нечто большее, помимо риска полицейского преследования.

От просвещения рабочих марксисты, которых с 1898 г. объединяла нелегальная Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), перешли к участию в деятельности более политизированных рабочих организаций, забастовках, а с 1905 г. и в революции. Между партийно-политической организацией и реальным пролетарским протестом никогда не существовало точного соответствия, и в 1905 г. социалистическим партиям с большим трудом удавалось идти в ногу с революционным движением рабочего класса. Тем не менее за период с 1898 по 1914 г. РСДРП перестала быть вотчиной интеллигенции и в буквальном

смысле переросла в пролетарское движение. Ее вожди по-прежнему принадлежали к интеллигенции и в большинстве своем проживали за пределами России, в европейской эмиграции. Но в самой России большинство членов и активистов партии были рабочими (или, в случае профессиональных революционеров, бывшими рабочими)¹⁴.

В том, что касалось теории, русские марксисты исходили из предпосылки, как будто бы ставившей их в очень неблагоприятное положение с точки зрения революции: им приходилось работать не на грядущую, а на следующую за ней революцию. Согласно ортодоксальным марксистским прогнозам, вступление России в капиталистическую фазу (произошедшее лишь в конце XIX в.) должно было неизбежно повлечь за собой свержение самодержавия в ходе либерально-буржуазной революции. Пролетариат мог поддерживать эту революцию, но, скорее всего, сыграл бы в ней только второстепенную роль. Россия была бы готова к пролетарской социалистической революции только после того, как капитализм достигнет зрелости, что, возможно, произошло бы только в отдаленном будущем.

До 1905 г. эта проблема не казалась особенно актуальной, поскольку никакой революции не намечалось, а марксисты достигли определенных успехов в деле организации рабочего класса. Однако небольшая группа — «легальные марксисты» во главе с Петром Струве — стала решительно отождествлять себя с задачами первой (либеральной) революции, стоявшей на марксистской повестке

14. Анализ состава большевиков и меньшевиков в 1907 г. см.: David Lane, *The Roots of Russian Communism* (Assen, The Netherlands, 1969), 22–3, 26.

дня, и утратила интерес к финальной цели — социалистической революции. Нет ничего удивительного в том, что такие сторонники модернизации и противники самодержавия, как Струве, присоединялись к марксистам в 1890-е гг., поскольку в то время за отсутствием либерального движения им больше не к кому было присоединяться; и столь же естественно то, что на рубеже веков они покинули марксистов с тем, чтобы принять участие в основании либерального освободительного движения. Тем не менее вожди русской социал-демократии, и в первую очередь Ленин, решительно осуждали ересь легального марксизма. Свирепая враждебность Ленина к «буржуазному либерализму» была несколько нелогична с марксистской точки зрения и вызывала некоторое смущение у его коллег. Однако с точки зрения революции позиция Ленина была в высшей степени рациональна.

Примерно тогда же вожди русских социал-демократов ополчились и на ересь экономизма, согласно которому пролетарское движение должно ставить перед собой прежде всего экономические, а не политические цели. На самом деле в рядах русского движения было совсем немного откровенных экономистов — в частности, из-за того, что русские рабочие в своих протестах очень быстро перешли от таких чисто экономических тем, как размер заработка, к политическим. Но вожди из числа эмигрантов, нередко более восприимчивые к веяниям в среде европейской социал-демократии, чем к ситуации в России, опасались ревизионистских и реформистских тенденций, проявлявшихся в немецком социал-демократическом движении. В ходе доктринерских баталий по поводу экономизма и легального марксизма русские марксисты однозначно объявляли себя революционерами,

а не реформистами, и называли в качестве своей цели социалистическую пролетарскую революцию, а не революцию либеральной буржуазии.

В 1903 г. на II съезде РСДРП между ее вождями разгорелся бурный диспут из-за кажущегося второстепенным вопроса — состава редколлегии партийной газеты «Искра»¹⁵. Действительно существенные вопросы при этом не затрагивались, хотя в той степени, в какой эти дебаты вращались вокруг Ленина, можно сказать, что главной проблемой был он сам — по мнению его коллег, он слишком агрессивно стремился к доминирующей роли. Ленин вел себя на съезде чрезвычайно властно; при этом незадолго до того он весьма категорично высказался по ряду теоретических вопросов, в первую очередь касавшихся организации партии и ее функций. Итогом стал конфликт между Лениным и Плехановым, старейшим русским марксистом; кроме того, едва не настал конец дружбе Ленина с его сверстником Юлием Мартовым.

В результате II съезда РСДРП раскололась на фракции «большевиков» и «меньшевиков». Большевиками называли тех, кто пошел за Лениным, а меньшевики (в число которых входили Плеханов, Мартов и Троцкий) составляли более крупную и более разрозненную группу членов партии, считавших, что Ленин зарвался. Этот раскол не имел особого значения для марксистов в России, и в тот момент, когда он произошел, даже эмигранты не считали его окончательным. Тем не менее он оказался бесповоротным, и с течением времени обе фракции обособлялись друг от друга все сильнее.

15. Дотошный разбор этого раскола см.: Jerry F. Hough and Merle Fainsod, *How the Soviet Union is Governed* (Cambridge, Mass., 1979), 21–26.

В дальнейшем Ленин иногда даже гордился тем, что оказался «раскольников», поскольку он считал крупные, слабо сплоченные политические организации менее эффективными по сравнению с небольшими, дисциплинированными радикальными группировками, требовавшими от своих членов верности и идеологического единства. Но кое-кто объяснял такую позицию неспособностью Ленина терпеть разногласия его «злостной подозрительностью», которую Троцкий в ходе предреволюционной полемики называл «карикатурой трагической нетерпимости якобинцев»¹⁶.

После 1903 г. меньшевики зарекомендовали себя в качестве более ортодоксальных марксистов (за исключением Троцкого, который до середины 1917 г. был меньшевиком, но при этом всегда шел своим путем), менее склонных подталкивать страну к революции и не так заинтересованных в создании сплоченной и дисциплинированной революционной партии. По сравнению с большевиками они пользовались более широкой поддержкой в нерусских регионах империи, в то время как большевики завоевали симпатии русских рабочих. (Однако в руководстве обеих партий, состоявшем в основном из интеллигенции, были широко представлены евреи и другие нерусские национальности). В последние предвоенные годы, в 1910–1914 гг., рабочие, охваченные воинственными настроениями, окончательно склонились на сторону большевиков: меньшевики считались более «респектабельной» партией, поддерживавшей тесные связи с буржуазией, в то время как большевики имели репута-

16. Троцкий Л. Наши политические задачи (1904). Цит. по: Исаак Дойчер, *Троцкий: Вооруженный пророк* (Москва, 2006), 104.

цию более пролетарской и более революционной партии¹⁷.

Большевики, в отличие от меньшевиков, имели лишь одного вождя, и их идентичность во многом определялась идеями Ленина и его личностью. Первой характерной чертой Ленина как теоретика марксизма был делавшийся им упор на партийную организацию. Он видел в партии не только авангард пролетарской революции, но в каком-то смысле и ее творца, поскольку, по его мнению, сам по себе пролетариат мог выработать только тред-юнионистское, но никак не революционное самосознание.

Ленин полагал, что ядро партии должны составлять профессиональные революционеры, происходящие как из интеллигенции, так и из рабочего класса, но в первую очередь занятые политической организацией рабочих, а не какой-то иной социальной группы. В своей работе «Что делать?» (1902) Ленин указывал на значение централизма, строгой дисциплины и идеологического единства в рамках партии. Разумеется, все эти требования были вполне логичными для партии, ведущей подпольное существование в полицейском государстве. Тем не менее многим современникам Ленина (а впоследствии и многим исследователям) представлялось, что неприязнь Ленина к более рыхлым массовым организациям, допускающим более высокий уровень разнообразия и спонтанности, была обусловлена не одними лишь внешними обстоятельствами, отчасти проистекая и из собственных ему авторитарных замашек.

Ленин отличался от многих других русских марксистов тем, что активно стремился к проле-

17. Haimson, «The Problem of Social Stability», 624–633.

тарской революции, а не просто предсказывал, что рано или поздно она непременно состоится. Эта характерная для него черта наверняка пришлась бы по душе Карлу Марксу, несмотря на то, что ленинские устремления требовали некоторого пересмотра ортодоксального марксизма. По сути Ленин так никогда и не смирился с идеей, что либеральная буржуазия неизбежно станет естественным вождем русской революции, направленной против самодержавия; в своей работе «Две тактики социал-демократии», написанной в разгар революции 1905 г., он утверждал, что главенствующую роль может и должен сыграть пролетариат — в союзе с мятежным русским крестьянством. Любому русскому марксисту, питавшему серьезные революционные намерения, несомненно, требовалось каким-либо образом обойти учение о буржуазии как лидере революции, и Троцкий впоследствии предложил похожее и, пожалуй, даже более успешное решение со своей теорией «перманентной революции». Начиная с 1905 г., в работах Ленина все чаще появляются такие слова, как «диктатура», «восстание» и «гражданская война». Их суровость, грубость и реализм в его глазах наилучшим образом описывали механизм грядущей революционной смены власти.

Революция 1905 года и ее последствия; Первая мировая война

Предреволюционная царская Россия представляла собой империю, находившуюся в процессе экспансии и обладавшую крупнейшей в Европе регулярной армией. Мощь России по отношению к внешнему миру служила для нее источником гордости,

достижением, которое можно было противопоставить внутренним политическим и социальным проблемам страны. Согласно словам, приписываемым одному из российских министров внутренних дел начала XX в., наилучшим лекарством от внутренних российских неурядиц была бы «маленькая победоносная война». Однако в историческом плане это была довольно сомнительная идея. На протяжении предыдущего полувека войны, которые вела Россия, в большинстве своем оказывались неудачными и не укрепляли доверия общества к правительству. Унизительное поражение в Крымской войне ускорило радикальные внутренние реформы 1860-х гг. Дипломатическое поражение, которое потерпела Россия после своего военного вмешательства на Балканах в конце 1870-х гг., вызвало внутриполитический кризис, завершившийся лишь с убийством Александра II. В начале 1900-х гг. экспансия России на Дальнем Востоке подталкивала ее к конфликту с другой экспансионистской державой, проявлявшей активность в этом регионе — Японией. Хотя некоторые из министров Николая II призывали к осторожности, при дворе и в высших бюрократических сферах преобладали представления о том, что на Дальнем Востоке Россию ожидает легкая добыча и что Япония — в конце концов, второстепенная, неевропейская держава — не станет опасным противником. Русско-японская война, разразившаяся в январе 1904 г., была развязана Японией, но ответственность за это почти в равной мере несла и провокационная российская политика на Дальнем Востоке.

Для России война обернулась серией катастроф и унижений на суше и на море. Первоначальная вспышка патриотизма, охватившая образованное общество, быстро сошла на нет, а попытки таких

общественных организаций, как земства, помочь властям в чрезвычайной ситуации, как и во время голода 1891 г., привели лишь к конфликтам с бюрократией и разочарованию. Это вдохнуло свежие силы в либеральное движение, поскольку самодержавная власть становилась особенно невыносимой тогда, когда она в наибольшей степени проявляла некомпетентность и неэффективность; земское дворянство и лица свободных профессий сплотились под знаменем нелегального освободительного движения, которым руководили из Европы Петр Струве и другие либеральные активисты. В конце 1904 г., когда война еще была в самом разгаре, русские либералы организовали банкетную кампанию (по образцу кампании, проводившейся в 1847 г. против французского короля Луи-Филиппа), в ходе которой общественная элита демонстрировала поддержку идее конституционной реформы. В то же время государство подвергалось нажиму и с других сторон, включая покушения террористов на чиновников, студенческие демонстрации и забастовки на заводах. В январе 1905 г. петербургские рабочие вышли на мирную демонстрацию — организованную не воинствующими элементами и революционерами, а священником-расстригой, имевшим связи в полиции, отцом Гапоном, — чтобы привлечь внимание царя к своему бедственному экономическому положению. Этот день, 9 января, стал известен как «Кровавое воскресенье», поскольку у Зимнего дворца демонстрация была расстреляна войсками. Так началась Революция 1905 года¹⁸.

18. О Революции 1905 г. см.: Abraham Ascher, *The Revolution of 1905*, 2 vols. (Stanford, Calif., 1988 and 1992).

Первые девять месяцев 1905 г. были отмечены очень сильным духом общенациональной солидарности, направленной против самодержавия. Никто всерьез не оспаривал претензии либералов на руководство революционным движением, а сила их позиции в противостоянии с режимом основывалась не только на поддержке со стороны земств и новых союзов лиц свободных профессий, принадлежавших к среднему классу, но и на таких разнородных источниках давления на государство, как студенческие демонстрации, забастовки рабочих, крестьянские бунты, мятежи в войсках и волнения в нерусских регионах империи. В свою очередь, самодержавие, охваченное паникой и замешательством, ушло в оборону и явно было неспособно восстановить порядок. Его шансы на выживание заметно повысились после того, как Витте в конце августа 1905 г. сумел заключить мир с Японией на неожиданно благоприятных условиях (Портсмутский договор). Но в Маньчжурии у правительства по-прежнему оставалась миллионная армия, которую не удавалось вывезти в европейскую Россию по Транссибирской железной дороге до тех пор, пока не были подавлены забастовки железнодорожников.

Кульминацией либеральной революции стал изданный Николаем II Октябрьский манифест 1905 г., в котором царь делал уступку конституционному принципу и обещал учредить общенациональный выборный парламент — Думу. Манифест расколол либералов: октябристы признали его, в то время как конституционные демократы (кадеты) формально воздержались от его признания в надежде на новые уступки. На деле с этого момента либералы отошли от участия в революции, сосредоточив свои усилия на создании новых

Октябристской и Кадетской партий и на подготовку к грядущим выборам в Думу.

Однако рабочие продолжали сохранять революционные настроения до конца года, становясь все более заметными и воинственными. В октябре в Петербурге был создан совет рабочих депутатов, выбиравшихся на предприятиях. Практическая роль Петербургского совета заключалась в том, чтобы представлять собой что-то вроде чрезвычайной муниципальной власти в тот момент, когда прочие институты были парализованы и шла всеобщая забастовка. Но в то же время он стал политическим форумом для рабочих, и в меньшей степени для социалистов из революционных партий (одним из вождей совета был Троцкий, в то время принадлежавший к меньшевикам). В течение нескольких месяцев царские власти смотрели на работу совета с опаской, и аналогичные органы возникли в Москве и других городах. Но в начале декабря после успешной полицейской операции Петербургский совет был разогнан. Известие о разгоне Петербургского совета привело к вооруженному восстанию, поднятому Московским советом, в котором значительным влиянием пользовались большевики. На его подавление были брошены войска, рабочие оказали сопротивление и восстание привело к многочисленным жертвам.

Городская революция 1905 г. послужила толчком к самым серьезным крестьянским мятежам со времен Пугачевского восстания, разразившегося в конце XVIII в. Однако революции в городе и на селе происходили не одновременно. Крестьянские бунты (заклучавшиеся в разграблении и сожжении помещичьих усадеб и нападениях на помещиков и должностных лиц) начались летом 1905 г., достигли пика в конце осени, утих-

ли, а затем с новой силой возобновились в 1906 г. Но даже в конце 1905 г. царский режим оставался достаточно сильным для того, чтобы с помощью войск начать усмирение одной деревни за другой. К середине 1906 г. армия была полностью вывезена с Дальнего Востока, а дисциплина в войсках была восстановлена. Зимой 1906–1907 гг. на большей части сельской местности действовало военное положение и военно-полевые суды вершили скорую расправу (в частности, было казнено более тысячи человек).

Русское земельное дворянство вынесло из событий 1905–1906 гг. урок, заключавшийся в том, что его союзником является самодержавие (которое имело возможность защитить его от мстительного крестьянства), а не либералы¹⁹. Но в том, что касается городов, Революция 1905 г. не привела к такому же четкому осознанию классовой поляризации: даже для большинства социалистов эти события не стали русским 1848 годом, вскрывшим предательскую сущность либерализма и принципиальный антагонизм между буржуазией и пролетариатом. Либералы — представлявшие скорее лиц свободных профессий, нежели капиталистический средний класс — в октябре держались в стороне, но и они не присоединились к режиму при подавлении пролетарской революции. Их отношение к пролетарскому и социалистическому движению оставалось намного более благожелательным, чем у либералов в большинстве европейских стран. В свою очередь, рабочие, судя по всему, ви-

19. См.: Roberta Thompson Manning, «Zemstvo and Revolution: The Onset of the Gentry Reaction, 1905–1907», in Leopold Haimson, ed., *The Politics of Rural Russia, 1905–1914* (Bloomington, Ind., 1979).

дели в либералах скорее трусливых, чем коварных союзников.

Политические итоги Революции 1905 г. были неоднозначными и в некоторых отношениях не устраивающими ни одну из заинтересованных сторон. В Основных законах 1906 г., максимально приблизивших Россию к конституционному государству, нашло выражение убеждение Николая в том, что Россия остается самодержавной монархией. Правда, отныне самодержец советовался с выборным парламентом и были легализованы политические партии. Однако Дума получила ограниченные полномочия, министры по-прежнему несли ответственность исключительно перед самодержцем, а после того, как первые две Думы оказались неуправляемыми и были незаконно распущены, была создана новая избирательная система, фактически оставившая без права голоса ряд социальных групп, в то время как земельное дворянство было представлено в Думе с чрезмерной избыточностью. Пожалуй, основное значение Думы заключалось в том, что она стала публичным форумом для политических дискуссий и учебным полигоном для политиков. Так же, как правовые реформы 1860-х гг. породили адвокатов, политические реформы 1905–1907 гг. породили парламентских политиков, причем обеим этим группам по самой своей природе было свойственно насаждать такие ценности и чаяния, которые не могло потерпеть самодержавие.

Чего Революция 1905 года *не изменила*, так это полицейского режима, сложившегося в 1880-е гг. Большая часть населения в большинстве случаев по-прежнему не могла рассчитывать на справедливое судебное разбирательство (так, с непокорным крестьянством в 1906–1907 гг. расправлялись

военно-полевые суды). Разумеется, для этого имелись понятные причины: то, что в 1908-м, относительно мирном году, в ходе нападений, имевших политические мотивы, было убито 1800 должностных лиц и ранено 2083²⁰, свидетельствует о том, каким беспокойным оставалось общество и в какой степени режим по-прежнему находился в обороне. Но это же означало, что политические реформы во многих отношениях были лишь видимостью. Например, профсоюзы в принципе были разрешены, но отдельные профсоюзы часто закрывались полицией. Политические партии стали легальными, и даже революционные социалистические партии могли участвовать в выборах в Думу и получить там несколько мест, но в то же время члены этих партий так же часто подвергались аресту, как и в прошлом, а партийные вожди (многие из которых вернулись в Россию во время Революции 1905 г.) вновь были вынуждены отправиться в эмиграцию, чтобы избежать тюремного заключения и ссылки.

Задним числом может сложиться впечатление, что революционеры-марксисты, имея за плечами 1905 год и уже видя впереди признаки 1917-го, должны были поздравлять себя с ярким революционным дебютом рабочих и уверенно смотреть в будущее. Но в реальности среди них царили совершенно иные настроения. Ни большевики, ни меньшевики не сумели приобрести в ходе пролетарской революции 1905 г. ничего, кроме скромного плацдарма: рабочие не столько отвергали, сколько обгоняли их, и это была необычайно отрезвляющая мысль, особенно для Ленина. Революция состоя-

20. Mary Schaeffer Conroy, *Petr Arkad'evich Stolypin. Practical Politics in Late Tsarist Russia* (Boulder, Colo., 1976), 98.

лась, но режим сопротивлялся и выжил. Среди интеллигенции было много разговоров о том, что следует отказаться от революционных мечтаний и от старой иллюзии о возможности социальных усовершенствований. С революционной точки зрения наличие фасада легальных политических институтов и новой породы либеральных политиков, полных самомнения и способных на одну лишь болтовню (в целом такого мнения о них придерживался Ленин, не слишком расходясь в этом отношении с Николаем II), не несло в себе никакой выгоды. Кроме того, глубочайшим и почти невыносимым разочарованием стало для революционных вождей возвращение к знакомой тоске эмигрантской жизни. Эмигранты никогда еще не были такими сварливыми и раздражительными, как в 1905–1917 гг.; более того, непрерывные мелкие перебранки между русскими стали одной из скандальных черт европейской социал-демократии, а Ленин был одним из самых главных разрушителей спокойствия.

В число дурных вестей предвоенных лет входила и обширная аграрная реформа, предпринятая режимом. Крестьянские мятежи 1905–1907 гг. убедили правительство отказаться от его прежней предпосылки, согласно которой наилучшей гарантией стабильности на селе считалась крестьянская община. Теперь власть возлагала надежды на создание класса мелких независимых фермеров — ставка делалась на «трезвого и сильного», как выразился главный министр Николая Петр Столыпин. Отныне крестьян поощряли к тому, чтобы те консолидировали свои наделы и выходили из общины; в губерниях для ускорения этого процесса создавались землеустроительные комиссии. Предполагалось, что бедные крестьяне будут продавать свою

землю и уходить в города, в то время как более процветающие будут наращивать свои владения и заботиться об их состоянии, одновременно приобретая консервативный мелкобуржуазный менталитет, свойственный, скажем, французским фермерам-крестьянам. К 1915 г. держателями земли на условиях ее индивидуального владения в той или иной форме были от четверти до половины всех российских крестьян, хотя вследствие юридических и практических препятствий, свойственных этому процессу, только десятая часть крестьян довела дело до конца и стала собственниками консолидированных участков²¹. Столыпинские реформы носили «прогрессивный» характер в марксистском смысле, поскольку они закладывали основы для развития капитализма в сельском хозяйстве. Но, в противоположность развитию городского капитализма, их кратко- и среднесрочные последствия для русской революции были глубоко отрицательными. Традиционно русское крестьянство отличалось бунтарским духом. Если бы столыпинские реформы удалась (чего опасался, например, Ленин), русский пролетариат лишился бы важного союзника по революции.

В 1906 г. серьезным импульсом к развитию российской экономики стал колоссальный заем (два с четвертью миллиарда франков), о котором Витте договорился с международным банковским консорциумом; предвоенные годы были отмечены стремительным развитием промышленности, находившейся как в отечественном, так и в зарубежном владении. Разумеется, этот процесс сопровождался ростом численности промышленного

21. Judith Pallot, *Land Reform in Russia, 1906–1917: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation* (Oxford, 1999), 8.

пролетариата. Однако после жестокого подавления рабочего революционного движения зимой 1905–1906 гг. пролетарские волнения на несколько лет заметно утихли, вновь разгоревшись лишь около 1910 г. В годы, непосредственно предшествовавшие войне, все чаще случались масштабные стачки, летом 1914 г. вылившись во всеобщую петроградскую забастовку, которая была достаточно серьезной, чтобы некоторые наблюдатели усомнились в том, что Россия решится мобилизовать свою армию на войну. Рабочие выдвигали не только экономические, но и политические требования, а претензии, предъявлявшиеся ими режиму, включали его ответственность за иностранное засилье во многих отраслях российской промышленности, а также применение силы против самих рабочих. В России меньшевики осознавали, что теряют поддержку со стороны рабочих, становившихся более агрессивными и воинственными, а большевики осознавали, что приобретают ее. Но этот факт не привел к сколько-нибудь заметному воодушевлению вождей большевиков, находившихся в эмиграции: из-за слабых связей с Россией они, вероятно, не вполне представляли себе, что происходит на родине, а их собственная позиция среди русского и социалистического эмигрантского сообщества в Европе становилась все более слабой и изолированной²².

Когда в Европе в августе 1914 г. разразилась война и Россия в союзе с Францией и Англией выступила против Германии и Австро-Венгрии, политические эмигранты оказались почти полностью

22. Яркое художественное изображение того, что эта изоляция означала в психологическом плане, дал Александр Солженицын в романе «Ленин в Цюрихе» (Paris, 1975).

отрезаны от России, в то же время столкнувшись с обычными проблемами, которые возникают у иностранцев, проживающих в воюющей стране. В европейском социалистическом движении в целом многие бывшие интернационалисты после объявления войны в одночасье стали патриотами. Русские были меньше других склонны к открытому патриотизму, но большинство из них заняло «оборонческую» позицию и поддерживало участие России в войне, пока речь шла о защите российских земель. Однако Ленин принадлежал к небольшой группе «пораженцев», не желавших считать дело своей родины правым: с точки зрения Ленина, это была империалистическая война, и ее наилучшим исходом для него было бы поражение России, которое могло вызвать гражданскую войну и революцию. Это была очень сомнительная позиция, даже в глазах социалистического движения, и большевики стали вызывать всеобщую неприязнь. В России на протяжении войны были арестованы все большевики, известные властям, включая депутатов Думы.

Как и в 1904 г., вступление России в войну вызвало в обществе волну восторженного патриотизма, шапкозакидательскую риторику, временный мораторий на внутреннее противоборство и попытки уважаемых общественных и неправительственных организаций всерьез помочь государству на фронте и в тылу. Но так же, как и в прошлый раз, эти настроения очень быстро обернулись разочарованием. Русская армия терпела сокрушительные поражения и несла большие потери (составившие в 1914–1917 гг. 5 млн человек)²³, а германская

23. Peter Gatrell, *Russia's First World War. a Social and Economic History* (Harlow, 2005), 246.

армия проникла глубоко в западные части империи, вызвав хаотический поток беженцев в центральную Россию²⁴. Поражения влекли за собой подозрения в измене на самом высоком уровне, и одной из главных мишеней стала жена Николая императрица Александра, немецкая княжна по рождению. Скандалами были окружены отношения Александры с Распутиным, темной, но харизматической личностью, которому она доверяла как истинному человеку божьему, способному справляться с гемофилией, которой болел ее сын. После того как Николай взял на себя обязанности главнокомандующего русской армии, что требовало от него длительных отлучек из столицы, Александра и Распутин начали оказывать самое пагубное влияние на министерские назначения. Отношения между правительством и IV Думой резко ухудшились: настроения, царившие в Думе и среди образованной публики, передавала фраза, звучавшая рефреном в речи кадета Павла Милюкова, посвященной критике правительства: «Глупость или измена?». В конце 1916 г. Распутин был убит несколькими молодыми аристократами, близкими ко двору, и правым думским депутатом, стремившимися спасти честь России и самодержавия.

Тяготы Первой мировой войны — а также, несомненно, характер Николая и его жены с их семейной трагедией — гемофилией, которой страдал их маленький сын²⁵, — резко высветила анахронистические черты русского самодержавия, пред-

24. См.: Peter Gatrell, *A Whole Empire Walking. Refugees in Russia during World War I* (Bloomington, IND., 1999).

25. Их семейная трагедия с большим сочувствием и пониманием изображена в: Роберт Мэсси, *Николай и Александра* (Москва, 2008).

ставив Николая уже не хранителем аристократических традиций, а скорее невольной сатирой на нее. «Министерская чехарда» некомпетентных фаворитов, назначаемых в правительство, неграмотный знахарь-крестьянин при дворе, интриги в придворных кругах, вылившиеся в убийство Распутина, и даже эпический рассказ о том, как его не брали ни яд, ни пули, ни вода, в которой его пытались утопить, — все это словно бы пришло из давно миновавшей эпохи, став причудливым и неуместным аккомпанементом к реалиям XX века: войсковым эшелонам, окопной войне и массовой мобилизации. В России не только имелась образованная публика, способная осознать это несоответствие, но и существовали такие институты, как Дума, политические партии, земства и созданный промышленниками Военно-промышленный комитет, потенциально способные сыграть роль посредников при переходе от старого режима к современному миру.

Накануне Первой мировой войны положение самодержавия было непрочным. В обществе наблюдался глубокий раскол, а политическая и бюрократическая структура страны была хрупкой и перенапряженной. Режим отличался такой уязвимостью к любым потрясениям и неудачам, что трудно себе представить, чтобы он был способен долго просуществовать даже в отсутствие войны, хотя в иных обстоятельствах изменения, очевидно, могли бы стать менее болезненными и иметь менее радикальные последствия по сравнению с тем, что случилось в 1917 г.

Первая мировая война выявила и в то же время усилила уязвимость старого режима в России. Общественность аплодировала победам, но не желала смириться с поражениями. Когда же они происхо-

дили, общество не вставало на поддержку правительства (что было бы относительно нормальной реакцией, особенно в случае вторжения врага в пределы родной страны; именно такой была реакция русского общества в 1812 г. и в 1941–1942 гг.), а наоборот, резко выступало против него, с тоном презрения и нравственного превосходства осуждая его некомпетентность и отсталость. Это говорит о том, что легитимность режима стала чрезвычайно шаткой и что его выживание очень тесно зависело от наглядных достижений, а в их отсутствие — от чистой удачи. Старому режиму повезло в 1904–1906 гг., когда военные поражения ввергли страну в революцию — в тот раз режиму удалось относительно быстро и без большого позора выйти из войны, и к тому же он сумел получить в мирной в тот момент Европе очень крупный послевоенный заем. В 1914–1917 гг. такого везения уже не было. Война чрезмерно затянулась, обескровив не только Россию, но и всю Европу. Более чем за год до европейского перемирия старый режим в России перестал существовать.

1917 год: Февральская и Октябрьская революции

В ФЕВРАЛЕ 1917 Г. самодержавная власть рухнула в обстановке массовых демонстраций и нежелания элиты оказать поддержку режиму. В стране, охваченной революционной эйфорией, принятие политических решений казалось простым делом. Разумеется, предполагалось, что будущее государственное устройство России станет демократическим. Точное значение этого расплывчатого понятия и сущность новой российской конституции должно было определить Учредительное собрание, которое следовало выбрать всеобщим голосованием, как только позволят обстоятельства. До той же поры революции элиты и революции народа — к первой категории относились либеральные политики, класс собственников и лица свободных профессий, а также офицерский корпус, вторую же составляли социалистические политики, городской пролетариат и простые солдаты и матросы, — предстояло сосуществовать, как это уже было в славные дни национальной революционной солидарности в 1905 г. В институциональном плане революцию элиты представляло новое Временное правительство, в то время как глашатаем народной революции стал восстановленный Петроградский совет. Им следовало дополнять друг друга, а не соперничать в борьбе за власть, чтобы «двоевластие» (так именовалось

сосуществование Временного правительства и Совета) могло служить источником силы, а не слабости. В конце концов, русские либералы традиционно видели в социалистах союзников, чья особая заинтересованность в социальных реформах была сопоставима и совместима с особой заинтересованностью самих либералов в политической демократизации. Аналогичным образом большинство русских социалистов было готово видеть в либералах союзников, разделяя марксистскую идею о том, что на первом месте в повестке дня стоит либерально-буржуазная революция и что социалисты должны поддерживать ее в борьбе против самодержавия.

Однако уже через восемь месяцев с февральскими надеждами и ожиданиями было покончено. «Двоевластие» оказалось иллюзией, за которой скрывалось что-то, очень похожее на безвластие. Народная революция принимала все более радикальный характер, тогда как революция элиты в стремлении защитить право собственности, а также закон и порядок, переходила на опасливые консервативные позиции. Временное правительство едва пережило мятеж генерала Корнилова, за которым стояли правые силы, после чего в октябре пало жертвой левых сил — большевиков, организовавших успешный переворот, в массовом сознании связанный с лозунгом «Вся власть Советам!». Долгожданное Учредительное собрание, в итоге начавшее работу в январе 1918 г., ничего не добилося и было бесцеремонно разогнано большевиками. На окраинах России офицеры прежней царской армии скапливали силы, чтобы сразиться с большевиками — порой под знаменем монархии, казалось бы, навсегда отброшенным в 1917 г. Революция не принесла в Россию либеральную демо-

кратию. Она принесла лишь анархию и гражданскую войну.

Стремительный переход от демократического Февраля к красному Октябрю ошеломил и побежденных, и победителей. Для русских либералов этот удар был болезненным. Революция, которая по праву была *их* революцией, как показывала история Западной Европы и с чем были согласны даже марксисты правого толка, наконец состоялась, но была отнята у них страшными и непостижимыми силами. Не меньшее возмущение испытывали меньшевики и прочие марксисты, не принадлежавшие к большевикам: время для социалистической пролетарской революции еще не настало и нарушение марксистской партией правил и захват ею власти были непростительны. Державы Антанты — партнеры России по европейской войне — были поражены этим фиаско и не желали признавать новое правительство, которое готовилось в одностороннем порядке вывести Россию из войны. Дипломаты, едва представлявшие себе, как зовут новых российских правителей, подозревали худшее и молились о скорейшем возрождении демократических надежд, приветствовавшихся ими в феврале. Читатели западных газет с ужасом узнавали о погружении некогда цивилизованной России в варварские глубины атеистического коммунизма.

Октябрьская революция оставила глубокие шрамы, которые сделались еще более болезненными и заметными для внешнего мира из-за эмиграции большого числа образованных россиян во время и сразу же после Гражданской войны, последовавшей за победой большевиков. В глазах эмигрантов большевистская революция была не столько трагедией в греческом смысле, сколько неожиданной, незаслуженной и в конечном счете несправедливой

катастрофой. Западной и особенно американской общественности казалось, что у русского народа украли либеральную демократию, за которую он так долго и доблестно боролся. Широкое распространение получили теории заговора, объясняющие большевистскую победу: самой популярной из них была теория международного еврейского заговора, поскольку Троцкий, Зиновьев и ряд других большевистских вождей были евреями; однако другая теория, поднятая на щит Солженицыным в «Ленине в Цюрихе», изображала большевиков пешками в руках немцев, успешно осуществивших заговор, который вывел Россию из войны. Разумеется, историки в большинстве своем скептически относятся к теориям заговора. Но не исключено, что настроения, обусловившие расцвет этих теорий, повлияли и на подход западных исследователей к этой проблеме. Вплоть до самого недавнего времени большинство исторических объяснений большевистской революции тем или иным образом подчеркивало ее незаконность, словно бы в попытке избавить русский народ от какой-либо ответственности за это событие и его последствия.

Согласно классической западной интерпретации большевистской победы и последующей эволюции советской власти, роль «бога из машины» сыграло секретное оружие большевиков — партийная организация и дисциплина. В качестве фундаментального текста при этом обычно ссылаются на брошюру Ленина «Что делать?» (см. выше, на с. 67), в которой названы предпосылки успешного создания нелегальной партии заговорщиков; указывается, что идеи, изложенные в «Что делать?», определили облик большевистской партии в годы ее становления и продолжали диктовать поступки большевиков даже после того, как

они окончательно вышли из подполья в феврале 1917 г. Тем самым была заложена мина под открытую, демократическую и плюралистическую политику первых послереволюционных месяцев в России, что в итоге привело к незаконному захвату власти заговорщиками-большевиками в ходе организованного ими в октябре переворота. В дальнейшем большевистская традиция централизованной организации и жесткой партийной дисциплины привела новый советский режим к репрессивному авторитаризму и заложила основы для последующей тоталитарной диктатуры Сталина¹.

Тем не менее, при применении этой общей концепции истоков советского тоталитаризма к конкретной исторической ситуации, разворачивавшейся с февраля по октябрь 1917 г., всегда возникали сложности. Во-первых, старая подпольная большевистская партия была наводнена новыми членами, в первую очередь вербовавшимися на заводах и в вооруженных силах — в этом отношении она превосходила все прочие политические партии. К середине 1917 г. она превратилась в открытую массовую партию, имевшую мало сходства с дисциплинированной элитной организацией профессиональных революционеров, описанной в «Что делать?». Во-вторых, ни сама партия как целое, ни ее руководство в 1917 г. не были едины в том, что касалось принципиальных политических вопросов. Например, в октябре разногласия в партийной верхушке, касавшиеся желательности

1. Критический историографический анализ этой аргументации см.: Stephen F. Cohen, «Bolshevism and Stalinism», in Robert C. Tucker, ed., *Stalinism* (New York, 1977); Стивен Коэн, «Большевизм и сталинизм», *Вопросы философии*. 1989. № 7, 46–72.

восстания, приобрели настолько острый характер, что этот вопрос публично обсуждался большевиками в ежедневных газетах.

Не исключено, что самой сильной стороной большевиков в 1917 г. была не строгая партийная организация и дисциплина (едва ли существовавшая в то время), а непримиримый радикализм их партии, находившейся на самом левом краю политического спектра. В то время как другие социалистические и либеральные группировки боролись за должности во Временном правительстве и Петроградском совете, большевики отказывались от своей кооптации и осуждали политику коалиций и компромиссов. Если прочие политики, прежде занимавшие радикальные позиции, призывали вождей к сдержанности, ответственности и соблюдению интересов государства, то большевики выводили на улицы безответственные и воинственные революционные толпы. После того как структура «двоевластия» распалась, дискредитировав коалиционные партии, представленные во Временном правительстве и в руководстве Петроградского совета, от этого выиграли одни лишь большевики. Из всех социалистических партий лишь они переступили через марксистскую щепетильность, уловили настроения толпы и заявили о своей готовности взять власть во имя пролетарской революции.

«Двоевластие» обычно рассматривается в классовом плане как союз между буржуазией в лице Временного правительства и пролетариатом в лице Петроградского совета. Сохранение этого союза зависело от сотрудничества между этими классами и политиками, претендующими на представление их интересов; но к лету 1917 г. стало ясно, что этот шаткий февральский консенсус серьезно подорван. По мере того как городское общество все сильнее

поляризовалось, разделяясь на правых, стоявших на стороне закона и порядка, и левых, выступавших за революцию, демократическая коалиция, занимавшая промежуточное положение, теряла почву под ногами. В июле на петроградские улицы вышли толпы рабочих, солдат и матросов, требовавших, чтобы Совет взял власть от имени рабочего класса и изгнал «десятерых министров-капиталистов» Временного правительства. В августе, когда произошел неудачный мятеж генерала Корнилова, один из ведущих промышленников призывал либералов с большей решимостью защищать свои классовые интересы:

Следует сказать... что нынешняя революция — это буржуазная революция, что буржуазный строй, существующий в настоящее время, неизбежен, а поскольку он неизбежен, необходимо сделать абсолютно логичный вывод и стоять на том, что лица, управляющие государством, мыслят как буржуазия и поступают как буржуазия².

«Двоевластие» замышлялось в качестве временного порядка на период до созыва Учредительного собрания. Но в середине 1917 г. его разрушение вследствие нападков слева и справа и растущая поляризация российской политики поставили тревожные вопросы в отношении как будущего, так и настоящего. Сохранялись ли разумные основания для надежды на то, что политические проблемы России могут быть решены Учредительным собранием, выбранным всеобщим голосованием, и формальной институционализацией парламентской демократии по западному образцу? Работоспособность

2. Цит. по: W. G. Rosenberg, *Liberals in the Russian Revolution* (Princeton, NJ, 1974), 209.

Учредительного собрания, как и промежуточного «двоевластия», зависела от наличия определенного политического консенсуса и признания необходимости в компромиссе. В качестве альтернатив консенсусу и компромиссу виделись только диктатура и гражданская война. Тем не менее складывалось впечатление, что именно эти альтернативы с большой вероятностью будут выбраны взбаламученным и резко поляризованным обществом, закусившим удила власти.

Февральская революция и «двоевластие»

В последнюю неделю февраля нехватка хлеба, забастовки, локауты и, наконец, демонстрация женщин-работниц Выборгской стороны по случаю Международного женского дня вывели на улицы Петрограда толпы людей, которые властям не удалось рассеять. IV Дума, у которой истек срок полномочий, снова направила императору петицию о создании ответственного правительства и попросила разрешения продлить сессию до окончания кризиса. И в той, и в другой просьбе ей было отказано; однако самовольно организованный Думский комитет, в котором главенствовали либералы из Кадетской партии и Прогрессивного блока, фактически продолжил сессию. Министры императора провели последнее заседание, на котором так и не было ничего решено, а затем скрылись, причем самые осторожные из их числа поспешили покинуть столицу. Сам Николай II отсутствовал в городе, находясь в тот момент в армейской Ставке в Могилеве; узнав о кризисе, он передал по телеграфу лаконичное требование немедлен-

но пресечь беспорядки. Но полиция теряла дееспособность, а войска петроградского гарнизона, введенные в город с целью разгона толпы, начали брататься с ней. Вечером 28 февраля военный комендант Петрограда был вынужден доложить о том, что революционные толпы захватили все железнодорожные вокзалы, все артиллерийские склады и, насколько было ему известно, вообще весь город; в его распоряжении осталось совсем немного надежных войск, и даже телефоны у него уже не работали.

У верховного армейского главнокомандования имелось два варианта — либо прислать свежие войска, за надежность которых никто не мог поручиться, либо искать политического решения с помощью думских политиков. Оно выбрало второй вариант. В Пскове поезд Николая, возвращавшегося из Могилева, был встречен эмиссарами верховного главнокомандования и Думы, почтительно предложившими императору отречься от престола. После непродолжительной дискуссии император кратко согласился на это. Однако первоначально приняв предложение о том, что ему следует отречься в пользу своего сына, он вспомнил о хрупком здоровье царевича Алексея и вместо этого решил отречься от своего имени и от имени Алексея в пользу своего брата, великого князя Михаила. Николай, который всегда был хорошим семьянином, оставшуюся часть пути с поразительным спокойствием и политической невинностью рассуждал о своей будущей жизни в качестве частного лица:

Он сказал, что уедет за границу и будет там жить до окончания военных действий [в ходе войны с Германией], а затем вернется в Россию, поселится в Крыму и полностью посвятит себя воспитанию сына. Некоторые из его собеседников сомневались, чтобы ему это

позволили, но Николай отвечал, что родителям нигде не воспрещают заботиться о своих детях³.

(После возвращения в столицу Николая отправили к семье в окрестности Петрограда, где впоследствии он мирно жил под домашним арестом, пока Временное правительство и союзные державы пытались решить, что с ним делать. Никакого решения так и не было принято. Впоследствии вся царская семья была сослана в Сибирь, а затем на Урал, где она по-прежнему жила под домашним арестом, но во все более тяжелых условиях, которые Николай переносил с большой стойкостью. В июле 1918 г., после начала Гражданской войны, Николай с семьей были казнены по приказу большевистского Уральского совета⁴. С момента своего отречения до самой смерти Николай в самом деле жил как частное лицо, не играя абсолютно никакой активной политической роли).

В первые дни после отречения Николая петроградские политики пребывали в состоянии крайнего возбуждения и лихорадочной активности. Первоначально они больше хотели избавиться от Николая, чем от монархии. Однако отречение Николая от имени своего сына ликвидировало возможность регентства до истечения несовершеннолетия Алексея, а великий князь Михаил, будучи человеком благоразумным, отверг предложение стать преемником своего брата. Таким образом, де-факто Россия перестала быть монархией. Было

3. George Katkov, *Russia, 1917: The February Revolution* (London, 1967), 444; Георгий Катков, *Февральская революция* (Париж, 1984), 331.

4. Документальный рассказ о последних днях жизни Николая см.: Mark D. Steinberg and Vladimir M. Khrustalev, *The Fall of the Romanovs* (New Haven and London, 1995), 277–366.

решено, что будущую форму управления страной в должный срок определит Учредительное собрание, а до тех пор полномочия бывшего императорского Совета министров брало на себя самозванное Временное правительство. Главой нового правительства стал князь Георгий Львов, глава Земского союза и умеренный либерал. В состав его кабинета вошли историк и теоретик Кадетской партии Павел Милюков в качестве министра иностранных дел, два видных промышленника в качестве министра финансов и министра торговли и промышленности и адвокат-социалист Александр Керенский в качестве министра юстиции.

Временное правительство не имело мандата от избирателей, и источником его власти были исчерпавшая срок своих полномочий Дума, согласие со стороны верховного армейского главнокомандования и неформальные договоренности с такими общественными организациями, как Земский союз и Военно-промышленный комитет. Старая царская бюрократия играла роль исполнительной власти, но вследствие роспуска Думы она не имела опоры в виде законодательного органа. С учетом хрупкости нового правительства и отсутствия у него формальной легитимности оно с поразительной легкостью взяло власть в свои руки. Державы Антанты тут же признали его. Монархические настроения по видимости исчезли в России в одночасье: во всей 10-й армии лишь два офицера отказались присягать Временному правительству. Как впоследствии вспоминал один либеральный политик,

Свою лояльность новой власти выражали и отдельные лица, и организации. Временное правительство признала вся Ставка, а вслед за ней и все армейское командование. Царские министры и некоторые из заме-

стителей министров были арестованы, но все прочие должностные лица оставались на своих местах. Министерства, конторы, банки — по сути, весь политический механизм России не прекращал работы. В этом отношении [февральский] *coup d'état* прошел так гладко, что уже тогда зародилось смутное предчувствие, что это не конец, что подобный кризис не может разрешиться настолько мирно⁵.

Более того, с самого начала имелись причины для сомнений в эффективности передачи власти. Самая важная из этих причин состояла в том, что у Временного правительства имелся конкурент: Февральская революция привела к созданию не одного, а двух самозванных правительств, претендующих на общенациональную роль. Вторым был Петроградский совет, созданный по образцу Петербургского совета 1905 г. рабочими, солдатами и социалистическими политиками. Этот Совет уже заседал в Таврическом дворце, когда 2 марта было объявлено о формировании Временного правительства.

Режим двоевластия с участием Временного правительства и Петроградского совета сложился спонтанно, и Временное правительство признало его — главным образом из-за того, что у него не было выбора. В чисто практическом плане десятков министров, не имевших в своем распоряжении никаких сил, едва ли смог бы очистить Таврический дворец (где первоначально заседали и правительство, и Совет) от пестрой толпы рабочих, солдат и матросов, во всех углах произносивших речи, евших, спавших, споривших и писавших воззвания; а настрой толпы, периодически врывавшейся в зал заседаний Совета с очередным арестованным

5. A. Tyrkova-Williams, *From Liberty to Brest-Litovsk* (London, 1919), 25.

полицейским или бывшим царским министром, которых повергали к ногам депутатов, явно отбивал охоту к подобным попыткам. В плане более общего порядка, как в начале марта объяснял армейскому главнокомандующему военный министр Гучков,

Временное правительство не имеет никакой реальной власти, и его распоряжения выполняются лишь в той мере, в какой этому не препятствует Совет рабочих и солдатских депутатов, обладающий всеми важнейшими элементами реальной власти, поскольку в его руках находятся и войска, и железные дороги, и почта с телеграфом. Можно откровенно сказать, что Временное правительство существует лишь постольку, поскольку это допускает Совет⁶.

В первые месяцы Временное правительство состояло преимущественно из либералов, в то время как в Исполнительном комитете Совета преобладали интеллектуалы-социалисты, по своей партийной принадлежности преимущественно меньшевики и эсеры. Керенский, член Временного правительства, но в то же время социалист, активно участвовал в создании обоих институтов, играя роль посредника между ними. Социалисты, заседавшие в Совете, намеревались присматривать за Временным правительством и защищать интересы рабочего класса до тех пор, пока не завершится буржуазная революция. Такое почтение к буржуазии отчасти было следствием полученного социалистами хорошего марксистского образования, а отчасти — осторожности и неуверенности. Как отмечал Николай Суханов, один из вождей меньшевиков в Совете, впереди наверняка ждали сложности

6. Цит. по: Allan K. Wildman, *The End of the Russian Imperial Army* (Princeton, NJ, 1980), 260.

и было бы лучше, чтобы ответственность, а при необходимости и вина, были возложены на либералов:

Советская демократия должна вручить власть цензовым элементам, своему классовому врагу, без участия которого она сейчас не совладает с техникой управления в отчаянных условиях разрухи и не справится с силами царизма, с силами самой буржуазии, обращенными целиком против нее... Но условия ее вручения должны обеспечить демократии и полную победу над ним в недалеком будущем⁷.

Однако рядовой состав Совета — рабочие, солдаты и матросы — не проявлял такой же осторожности. 1 марта, еще до формального создания Временного правительства и появления в Совете «ответственного руководства», от имени Петроградского совета был издан пресловутый Приказ №1. Он представлял собой революционный документ и декларацию властных полномочий Совета. Приказ №1 призывал к демократизации армии путем создания выборных солдатских комитетов, лишению офицеров части их дисциплинарных полномочий и, самое важное, признанию власти Совета в отношении всех политических вопросов, связанных с вооруженными силами: в соответствии с приказом, ни одно правительственное распоряжение, касающееся армии, не считалось действительным без его подтверждения Советом. Хотя Приказ №1 не санкционировал переизбрания офицеров на их должности, подобное переизбрание в реальности проводилось в особенно неуправляемых частях; кроме того, появлялись известия о том, что в Крон-

7. Sukhanov, *The Russian Revolution, 1917*, i. 104–105; Николай Суханов, *Записки о революции*. Т. 1 (Москва, 1991), 132.

штадте и на Балтийском флоте в дни Февральской революции матросами были арестованы или убиты сотни морских офицеров. Поэтому в Приказе №1 чувствовался заметный душок классовой войны и не содержалось абсолютно никаких обещаний в том, что касалось перспектив классового сотрудничества. Приказ был предзнаменованием самой неработоспособной формы двоевластия, то есть ситуации, в которой лица, призванные на срочную службу в вооруженные силы, признавали только авторитет Петроградского совета, в то время как офицерский корпус признавал только авторитет Временного правительства.

Исполнительный комитет Совета из всех сил старался отмежеваться от радикальной позиции, вытекающей из Приказа №1. Однако в апреле Суханов говорил об «изоляции от масс», вызванной фактическим альянсом Исполкома с Временным правительством. Разумеется, это был лишь частичный альянс. Между Исполкомом Совета и Временным правительством регулярно происходили стычки относительно трудовой политики и проблемы земельных требований крестьянства. Кроме того, существенными были и разногласия относительно участия России в европейской войне. Временное правительство решительно сохраняло преданность обязательствам перед союзниками, а в ноте министра иностранных дел Милюкова от 18 апреля даже содержался намек на сохранение у России заинтересованности в приобретении контроля над Константинополем и черноморскими проливами (о чем шла речь в тайных соглашениях, заключенных царским правительством с державами Антанты), хотя возмущение общественности и вновь начавшиеся уличные демонстрации вскоре заставили его подать в отставку. Исполком Совета занимал

«оборонческую» позицию, выступая за продолжение войны, пока на российской территории находятся вражеские армии, но не признавая аннексионистских военных целей и тайных соглашений. Однако на низовом уровне в Совете — как и на улицах, на заводах и в первую очередь в гарнизонах, — отношение к войне в большинстве случаев было более простым и жестким: прекратить военные действия, выйти из войны, вернуть солдат по домам.

Взаимоотношения между Исполкомом Петроградского совета и Временным правительством, сложившиеся весной и летом 1917 г., носили интенсивный, тесный и конфликтный характер. Исполком ревностно охранял свою независимую идентичность, но в конечном счете оба эти института были слишком тесно связаны, чтобы испытывать безразличие к своей взаимной судьбе или порвать друг с другом в случае катастрофы. Связь между ними укрепилась в мае, когда Временное правительство перестало быть либеральным заповедником и превратилось в коалицию либералов и социалистов, кооптировав представителей главных социалистических партий (меньшевиков и эсеров), чье влияние преобладало в Исполкоме Совета. Социалисты не стремились войти в состав правительства, но решили, что их долг — поддержать непрочный режим в пору национального кризиса. Они по-прежнему относились к Совету как к более естественной для них арене политических действий, особенно после того, как стало ясно, что новые социалистические министры сельского хозяйства и труда не в состоянии осуществлять свою политическую программу из-за либерального противодействия. Тем не менее символический выбор был сделан: более тесно связав свою судьбу с Временным правительством, «ответственные» социа-

листы отмежевались (как соответственно отмежевался и Исполком Совета) от «безответственной» народной революции.

Враждебность народа к «буржуазному» Временному правительству начала нарастать в конце весны, по мере усиления усталости от войны и ухудшения экономической ситуации в городах⁸. В ходе состоявшихся в июле уличных демонстраций («Июльские дни») демонстранты несли транспаранты с лозунгом «Вся власть Советам!», что фактически подразумевало отстранение Временного правительства от власти. Парадоксальным образом, хотя и вполне логично с точки зрения его преданности правительству, Исполком Петроградского совета отверг лозунг «Вся власть Советам!»; по сути, демонстранты выступали не только против самого правительства, но и против тогдашней верхушки Совета. «Сукин сын, бери власть, коли ее тебе дают!» — кричал один из демонстрантов, показывая кулак политику-социалисту⁹. Но это воззвание (или угроза?) осталось без ответа со стороны тех, кто хранил верность «двоевластию».

Большевики

К моменту Февральской революции практически все ведущие большевики находились либо в эмиграции, либо в ссылке в отдаленных уголках Российской империи, где они оказались в результате

8. Яркое описание того, как развивалась ситуация в провинции, см.: Donald J. Raleigh, *Revolution on the Volga* (Ithaca and London, 1986).

9. Цит. по: Leonard Schapiro, *The Origin of the Communist Autocracy* (Cambridge, Mass., 1955), 42 (n. 20).

массовых арестов, произведенных после начала войны из-за того, что большевики не только выступали против участия России в ней, но и указывали, что поражение России сыграет на руку революции. Вожди большевиков, сосланные в Сибирь (включая Сталина и Молотова), одними из первых вернулись в столицу. Но тем, кто находился в европейской эмиграции, вернуться было значительно труднее по той простой причине, что в Европе шла война. Возвращение через Балтику было опасным предприятием, которое требовало содействия со стороны Антанты, в то время как сухопутные маршруты проходили по вражеской территории. Тем не менее Ленину и другим членам эмигрантского сообщества, проживавшим в нейтральной Швейцарии, не терпелось вернуться; и после переговоров, которые вели посредники, германское правительство предоставило эмигрантам возможность пересечь Германию в запломбированном поезде. Германия была явно заинтересована в том, чтобы пропустить в Россию революционеров, выступавших против войны, но самим революционерам пришлось сопоставить желательность возвращения на родину с риском политической компрометации. Ленин и небольшая группа эмигрантов — главным образом большевиков — решили рискнуть и отправились в путь в конце марта. (Значительно более крупная группа русских революционеров в Швейцарии, включая почти всех меньшевиков, решила, что разумнее будет выждать — это был ловкий ход, поскольку они избежали всех споров и обвинений, спровоцированных поездкой Ленина. Эта группа месяц спустя по аналогичной договоренности с немцами отбыла во втором запломбированном поезде).

Прежде чем Ленин в начале апреля вернулся в Петроград, бывшие сибирские ссыльные уже на-

чали перестраивать большевистскую организацию и издавать газету. В тот момент большевики, как и другие социалистические группировки, выказывали признаки движения в сторону рыхлой коалиции, сложившейся вокруг Петроградского совета. Однако вожди Совета из числа меньшевиков и эсеров не забыли, каким возмутителем спокойствия умел быть Ленин, и ожидали его возвращения с тревогой. Она оказалась вполне оправданной. 3 апреля, выйдя из поезда на Финляндском вокзале в Петрограде, Ленин коротко ответил приветственному комитету Совета, бросил толпе несколько фраз весьма пронзительным голосом, всегда раздражавшим его оппонентов, и сразу же отправился на частную встречу и совещание со своими товарищами по большевистской партии. Он явно не утратил своих прежних сектантских привычек. В его поступках не было заметно ни следа радости, которая в те первые революционные месяцы нередко бросала старых политических противников в братские объятия по случаю победы революции.

Ленинская оценка политической ситуации, изложенная в «Апрельских тезисах», была воинственной, бескомпромиссной и явно неприятной для тех петроградских большевиков, которые осторожно приняли проводившуюся Советом линию на единство социалистов и принципиальную поддержку нового правительства. Почти не задерживаясь на признании февральских достижений, Ленин уже предвкушал второй этап революции — свержение буржуазной власти пролетариатом. Он отказывал в любой поддержке Временному правительству. Необходимо было разрушить питавшиеся социалистами иллюзии единства и «наивное доверие» масс к новому режиму. Нынешнее руководство Совета,

поддавшееся буржуазному влиянию, было никчемным (в одной из своих речей Ленин позаимствовал у Розы Люксембург характеристику, которую она дала германской социал-демократии, назвав ее «зловонным трупом»).

Несмотря на это, Ленин предвещал, что именно советы — во главе с обновленным революционным руководством — станут важнейшими институтами передачи власти от буржуазии пролетариату. «Вся власть Советам!», один из лозунгов «Апрельских тезисов» Ленина, по сути представлял собой призыв к классовой войне. Аналогичный революционный смысл содержался и в другом апрельском лозунге Ленина — «Мира, земли и хлеба!» «Мир» в понимании Ленина означал не только выход из империалистической войны, но и признание того, что выйти из нее «нельзя без свержения капитала». Под «землей» имелась в виду конфискация помещичьих земель и их перераспределение самими крестьянами — нечто, очень близкое к захватам земли крестьянами. Неудивительно, что один из критиков обвинил Ленина в том, что им «водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии»¹⁰.

Большевики, при всем их уважении к Ленину и его точке зрения, были поражены его «Апрельскими тезисами»: иные из них даже склонялись к мнению о том, что за годы эмиграции он утратил представление о реалиях российской жизни. Но в течение следующих месяцев, под влиянием постоянных увещеваний и упреков со стороны Ленина, большевики действительно заняли

10. В. И. Ленин, «Апрельские тезисы», в В. И. Ленин, *Полное собрание сочинений*. 5-е изд. (М., 1958–1970). Т. 31. Критиком, о котором говорит Ленин, был И. П. Гольденберг.

более непримиримую позицию, отойдя от социалистической коалиции. Однако в условиях, когда у большевиков не было большинства в Петроградском совете, лозунг Ленина «Вся власть Советам!» не мог служить для большевиков практическим руководством к действию. Никто не мог сказать, проявил ли Ленин в своей стратегии политическую мудрость или просто выступал как эксцентричный экстремист — левый аналог старого социалиста Плеханова, чей неприкрытый патриотизм в отношении войны выбросил его на обочину русской социалистической политики.

Необходимость в единстве социалистических сил представлялась самоочевидной большинству связанных с Советом политиков, гордившихся преодолением их старых сектантских разногласий. В июне на I Всероссийском съезде Советов один из ораторов задал риторический вопрос о том, найдется ли политическая партия, готовая единолично взять на себя ответственность за управление страной. Предполагалось, что ответ будет отрицательным, но Ленин возразил: «Есть такая партия!». Однако для большинства делегатов его реплика прозвучала не серьезным вызовом, а бравадой. Тем не менее это был серьезный вызов, поскольку большевики приобретали массовую поддержку, а коалиция социалистов теряла ее.

На июньском съезде советов большевики еще оставались в меньшинстве, и им еще следовало победить на выборах в крупных городах. Но их растущее влияние уже было очевидно на низовом уровне — в фабрично-заводских рабочих комитетах, в солдатских и матросских комитетах в вооруженных силах и в местных районных советах в больших городах. Резко возрастала и численность большевистской партии, хотя большевики никогда не при-

нимали формального решения о массовом наборе в ряды партии и были едва ли не удивлены этим наплывом. Данные о численности партии, пусть даже спорные и, возможно, преувеличенные, все же дают некоторое представление о ее размерах: 24 тыс. членов на момент Февральской революции (хотя эта цифра особенно сомнительна, поскольку в феврале в петроградской партийной организации реально насчитывалось лишь около 2 тыс. членов, а в московской организации — 600 человек), более 100 тыс. членов к концу апреля и 350 тыс. членов в октябре 1917 г., включая 60 тыс. в Петрограде и окрестностях и 70 тыс. в Москве и прилегающем к ней Центральном промышленном районе¹¹.

Народная революция

В начале 1917 г. в стране под ружьем находилось 7 млн человек, и еще 2 млн человек составляли резервисты. Вооруженные силы несли колоссальные потери, а усталость от войны самым очевидным образом проявлялась в росте уровня дезертирства и отклике солдат на немецкие призывы к братанию на фронте. В глазах солдат Февральская революция содержала в себе неявное обещание скорого конца войны, и они с нетерпением ждали такого шага от Временного правительства — если не по его собственной инициативе, то под давлением со стороны Петроградского совета. В начале весны 1917 г. армия с ее новой демократической структурой выборных комитетов, прежними про-

11. Тщательный анализ данных о численности партии в 1917 г. см.: Т. Н. Rigby, *Communist Party Membership in the USSR, 1917–1967* (Princeton, NJ, 1968), ch. 1.

блемами неудовлетворительного снабжения и царившими в ней настроениями беспокойства и неопределенности в лучшем случае представляла собой боевую силу сомнительной эффективности. Боевой дух на фронте еще не вполне угас. Но ситуация в разбросанных по стране гарнизонах, в которых размещались резервные части, была намного более неприглядна.

По традиции солдат и матросов, находившихся в рядах российских вооруженных сил в 1917 г., зачисляют в «пролетарии», независимо от их рода занятий в мирное время. На самом деле большинство этих людей были крестьянами, хотя на Балтийском фронте и в армиях Северного и Западного фронтов рабочие были представлены в непропорционально большом числе, поскольку соответствующие части пополнялись за счет жителей относительно индустриализованных регионов. Можно указать, что с марксистской точки зрения рядовой состав вооруженных сил имел пролетарскую природу в силу его нынешнего занятия, но более важно то, что эти люди, судя по всему, сами считали себя таковыми. Как следует из работы Уайлдмена¹², весной 1917 г. солдаты-фронтовики — даже в тех случаях, когда они были готовы сотрудничать с офицерами, признавшими революцию и новые нормы поведения, — видели в офицерах и во Временном правительстве представителей одного и того же класса, а именно класса «господ», и отождествляли свои интересы с интересами рабочих и Петроградского совета. К маю, как с тревогой сообщал главнокомандую-

12. Wildman, *The End of the Russian Imperial Army*. Помимо ключевой темы этой книги — российской армии в феврале-апреле 1917 г. — ей почти нет равных в смысле анализа февральской смены власти.

щий, «классовый антагонизм» между офицерами и рядовыми уже серьезно подорвал дух патриотической солидарности в армии.

Петроградские рабочие уже продемонстрировали революционный настрой в феврале, хотя они не были достаточно воинственными или психологически готовыми для того, чтобы воспротивиться созданию «буржуазного» Временного правительства. В первые месяцы после Февральской революции главные претензии, выражавшиеся рабочими в Петрограде и других местах, носили экономический характер и касались таких злободневных вопросов, как восьмичасовой рабочий день (Временное правительство отказывалось его вводить, ссылаясь на войну и чрезвычайную ситуацию), размер зарплаток, сверхурочные работы и гарантии занятости¹³. Однако никто не мог поручиться за то, что такая ситуация сохранится, с учетом традиционной политической воинственности российского рабочего класса. Война действительно изменила состав рабочего класса — в его рядах сильно возросла доля женщин, а также несколько увеличилась его общая численность; кроме того, обычно считалось, что женщинам-работницам революционные настроения свойственны в меньшей степени, чем мужчинам. Тем не менее Февральская революция началась именно с женской забастовки в Международный женский день; а те женщины, чьи мужья находились на фронте, были особенно склонны к активным выступлениям против продолжения войны. В Петрограде, как центре производства боеприпасов, в котором многие квалифицированные рабочие-мужчины не подлежали воинскому

13. Marc Ferro, *The Russian Revolution of February 1917*, trans. by J. L. Richards (London, 1972), 112–121.

призыву, доля мужчин среди рабочих оставалась относительно большой. Несмотря на полицейскую облаву на большевиков в начале войны и последующие аресты или призыв в армию большого числа прочих политических смутьянов на предприятиях города, на крупных металлургических и военных заводах Петрограда трудилось поразительно много рабочих, состоявших в большевистской и других революционных партиях, и даже профессиональных революционеров-большевиков, после начала войны прибывших в столицу с Украины и из прочих частей империи. Другие революционеры из числа рабочих вернулись на свои предприятия после Февральской революции, тем самым усилив потенциал для политической нестабильности.

Февральская революция привела к появлению множества различных рабочих организаций во всех промышленных центрах России, но в первую очередь в Петрограде и Москве. Советы рабочих депутатов создавались не только на городском уровне, подобно Петроградскому совету, но и на более низком уровне городских районов, где советами руководили обычно сами рабочие, а не социалистическая интеллигенция, и где нередко царили более радикальные настроения. Основывались новые профсоюзы, а на уровне предприятий рабочие начали создавать фабрично-заводские комитеты (не входившие в структуру профсоюзов и иногда существовавшие параллельно с местными отделениями профсоюзов) для взаимодействия с управлением предприятий. Фабрично-заводские комитеты, ближе всего находясь к массам, в большинстве своем являлись наиболее радикальными из всех рабочих организаций. В фабрично-заводских комитетах Петрограда уже к концу мая 1917 г. верховодили большевики.

Первоначальная функция фабрично-заводских комитетов заключалась в том, чтобы играть роль пролетарского надзора за капиталистической верхушкой предприятий. Эта функция описывалась термином «рабочий контроль», в большей степени подразумевавшим надзор, нежели контроль в управленческом смысле. Но на практике фабрично-заводские комитеты нередко шли дальше и начинали брать на себя управленческие функции. Порой такое развитие событий было связано с диспутами по поводу контроля над наймом и увольнениями или же вытекало из классовой вражды, толкавшей рабочих на некоторых заводах к тому, чтобы сажать непопулярных мастеров и управляющих в тачки и вываливать их в реку. Бывало и так, что фабрично-заводские комитеты старались спасти рабочих от увольнения, когда владелец или управляющий бросал предприятие или угрожал закрыть его из-за убытков. По мере того как подобные случаи учащались, понятие «рабочий контроль» стало подразумевать что-то вроде рабочего самоуправления.

Этот процесс происходил одновременно со все более воинственным политическим настроением рабочих, а большевики приобретали влияние в фабрично-заводских комитетах. Под воинственностью имеется в виду враждебность к буржуазии и утверждение главенства рабочих в революции: подобно тому как под «рабочим контролем» все чаще понималось то, что рабочие должны брать заводы в свои руки, так и в рядах рабочего класса росло осознание того, что «советская власть» означает полную власть рабочих в своем районе, в городе, а может быть, и во всей стране. В качестве политической теории такой подход был ближе к анархизму или анархо-синдикализму, чем к большевизму, и боль-

шевики в реальности не разделяли идею о том, что прямая пролетарская демократия, осуществляемая посредством фабрично-заводских комитетов или советов, представляет собой допустимую или желательную альтернативу их собственной концепции «пролетарской диктатуры» во главе с партией. Тем не менее большевики были реалистами, а политическая реальность летом 1917 г. в Петрограде заключалась в том, что их партия пользовалась сильной поддержкой в фабрично-заводских комитетах и не желала ее терять. Соответственно, большевики выступали за «рабочий контроль», не давая слишком четкого определения того, что под этим подразумевалось.

Рост воинственности рабочего класса вызвал тревогу у нанимателей: ряд предприятий был закрыт, а один видный промышленник осторожно выражал мнение о том, что, возможно, «костлявая рука голода» в конце концов позволит призвать городских рабочих к порядку. Но в деревне тревога помещиков и их страх перед крестьянством были гораздо сильнее. В феврале село сохраняло спокойствие, тем более что многие молодые крестьяне были призваны на воинскую службу. Однако в мае стало ясно, что деревня сползает к бунту, как это уже было в 1905 г. в ответ на революцию в городах. Как и в 1905–1906 гг., крестьяне грабили и жгли помещичьи усадьбы. Кроме того, крестьяне захватывали частные и государственные земли. Летом, по мере нарастания беспорядков, многие помещики бросали свои имения и бежали в города.

Хотя даже после бунтов 1905–1906 гг. Николай II цеплялся за идею о том, что русские крестьяне, при всей их возможной неприязни к местным чиновникам и помещикам, любят царя, многие крестьяне реагировали на известие о свержении монархии

и Февральской революции совершенно по-иному. Судя по всему, в глазах всей крестьянской России эта новая революция аннулировала — или должна была аннулировать — давнее и незаконно полученное дворянством право на владение землей. Как писали весной крестьяне в своих многочисленных петициях Временному правительству, земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает¹⁴. Конкретный смысл, вкладывавшийся крестьянами в эту идею, по-видимому, заключался в том, что им должна отойти земля, которую они обрабатывали, будучи крепостными у дворян, и которая, согласно условиям освобождения крестьян, осталась у помещиков. (На тот момент значительная часть этой земли была взята крестьянами у помещиков в аренду; в других случаях ею занимались сами помещики, используя местных крестьян в качестве наемной рабочей силы).

Если среди крестьян сохранялись представления о землевладении, восходившие еще к временам крепостного права, закончившегося более полувека назад, то едва ли удивительно, что аграрная реформа, проведенная Столыпиным перед Первой мировой войной, слабо повлияла на крестьянское сознание. Тем не менее очевидная жизнеспособность крестьянской общины в 1917 г. оказалась для многих шоком. Марксисты еще с 1880-х гг. утверждали, что община по сути переживала внутреннее разложение, сохраняясь лишь потому, что государство считает ее полезным инструментом. На бумаге следствием столыпинской реформы стала ликвидация мира во многих селах европейской России.

14. Различные отклики народа на революцию см. в документах, собранных в: Mark D. Steinberg, *Voices of Revolution, 1917* (New Haven and London, 2001).

Но несмотря на все это, именно община главным образом определяла в 1917 г. отношение крестьян к земельному вопросу. Крестьяне в своих петициях требовали эгалитарного перераспределения земель, принадлежавших дворянству, государству и церкви — то есть такого же равноправного раздела земли между сельскими домохозяйствами, какой традиционно осуществлялся миром применительно к деревенской земле. Когда летом 1917 г. начались крупномасштабные самовольные захваты земли, они проводились от имени деревенских общин, а не отдельных крестьянских домохозяйств, причем в большинстве случаев новую землю между крестьянами впоследствии распределяла община, так же, как она по традиции распределяла старую землю. Более того, в 1917–1918 гг. община нередко восстанавливала власть над своими бывшими членами: столыпинских «отрубников», в предвоенные годы выходивших из общины с тем, чтобы вести хозяйство в качестве независимых мелких фермеров, во многих случаях вынуждали вернуться в нее и их наделы присоединялись к общей деревенской земле.

Несмотря на всю серьезность земельной проблемы и сообщения о захватах земли, поступавшие с начала лета 1917 г., Временное правительство не спешило с аграрной реформой. Либералы в принципе не были против экспроприации частных земель и в целом, по-видимому, считали требования крестьян справедливыми. Но понятно, что любая радикальная земельная реформа была бы сопряжена с крайне серьезными проблемами. Во-первых, правительству пришлось бы создать сложный официальный механизм по изъятию земель и их передаче крестьянам, а эта задача почти наверняка превышала его текущие административные

возможности. Во-вторых, оно не могло позволить себе выплату землевладельцам крупных компенсаций, которые считало необходимыми большинство либералов. Временное правительство приходило к выводу, что лучше всего было отложить решение этих проблем до тех пор, пока ими не сможет должным образом заняться Учредительное собрание. Пока же правительство лишь совершенно безуспешно требовало от крестьян, чтобы те ни в коем случае не занимались самозахватами.

Летние политические кризисы

В середине июня Керенский, к тому времени ставший военным министром в составе Временного правительства, призывал русскую армию начать крупное наступление на Галицийском фронте. Это было первое серьезное военное начинание после Февральской революции, поскольку немцы довольствовались тем, что наблюдали за распадом русской армии, не стремясь к захвату новых территорий на востоке, а русское верховное главнокомандование, опасаясь катастрофы, до того момента противилось требованиям союзников о более активных действиях. Русское наступление в Галиции, предпринятое в июне и начале июля, провалилось, приведя к потерям примерно в 200 тыс. человек. Это была катастрофа во всех смыслах слова. Боевой дух в вооруженных силах окончательно угас, и немцы предприняли успешное контрнаступление, продолжавшееся в течение лета и осенью. Дезертирство в русской армии, уже выросшее после получения солдатами-крестьянами известий о захватах земли, приняло масштабы эпидемии. Доверие к Временному правительству было подорвано,

а трения между правительством и военным руководством усилились. В начале июля произошел правительственный кризис, вызванный отставкой всех министров-кадетов (либералов) и главы Временного правительства, князя Львова.

В разгар этого кризиса Петроград 3–5 июля вновь сотрясли массовые демонстрации, уличное насилие и беспорядки, известные как «Июльские дни»¹⁵. В состав вышедших на улицу толп, численность которых современники оценивали в полмиллиона человек, входили крупные организованные отряды кронштадтских матросов, солдат и рабочих с петроградских заводов. Временное правительство восприняло все это как попытку большевистского восстания. Кронштадтские матросы, чье прибытие в Петроград и привело к беспорядкам, имели среди своих вождей большевиков, шли под большевистским лозунгом «Вся власть Советам!» и первым делом направились к штаб-квартире большевистской партии в особняке Кшесинской. Однако когда демонстранты прибыли туда, Ленин встретил их сухо, едва ли не грубо. Он не призывал их к насильственным действиям против Временного правительства или нынешнего руководства Советом, и таких действий не было, хотя толпа двинулась к Совету и скопилась вокруг него угрожаящим образом. Демонстранты, сбитые с толку и не имевшие ни руководства, ни конкретных планов, бродили по городу, предавались пьянству и грабежам и в конце концов разошлись.

В каком-то смысле «Июльские дни» оправдали непримиримую позицию, занимаемую Лениным

15. Об «Июльских днях» см.: A. Rabinowitch, *Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising* (Bloomington, Ind., 1968).

с апреля, и свидетельствовали о сильном массовом недовольстве Временным правительством и двоевластием, раздражении социалистами, вошедшими в состав коалиции, и готовности кронштадтских матросов и прочих к силовому противостоянию, а может быть, и к восстанию. Но с другой стороны, «Июльские дни» стали для большевиков катастрофой. Ленин и ЦК большевиков, несомненно, были застигнуты врасплох. Они говорили общие слова о восстании, но не планировали его. Кронштадтские большевики, реагируя на революционный настрой матросов, взяли на себя инициативу, от которой ЦК большевиков по сути откrestился. Все эти события серьезно деморализовали большевиков и подорвали доверие к Ленину как к революционному вождю.

Удар был тем более сильным, так как Временное правительство и умеренные социалисты из состава Совета объявили ответственными за «Июльские дни» именно большевиков, несмотря на нерешительную и неопределенную реакцию их вождей. Временное правительство решило разделаться с ними и отменило «парламентский иммунитет», которым пользовались после Февральской революции политики из всех партий. Было арестовано несколько видных большевиков, включая Троцкого, который в мае вернулся в Россию и занял левозэкстремистскую позицию, близкую к позиции Ленина, а в августе официально стал членом большевистской партии. Также были выданы ордера на арест Ленина и одного из его ближайших соратников в большевистском руководстве Григория Зиновьева. Более того, во время «Июльских дней» Временное правительство намекнуло на наличие у него фактов, подтверждавших слухи о том, что Ленин был немецким агентом, и на больше-

виков обрушилась волна патриотических осуждений в прессе, на какое-то время снизившая их популярность в вооруженных силах и на заводах. ЦК большевиков опасался за жизнь Ленина (как, несомненно, опасался и он сам). Он перешел на подпольное положение, а в начале августа, переодевшись рабочим, пересек границу и нашел убежище в Финляндии.

Впрочем, если у большевиков начались неприятности, то в таком же положении находилось и Временное правительство, с начала июля возглавлявшееся Керенским. Либерально-социалистическую коалицию непрерывно сотрясали конфликты. Массы, представляемые социалистами в Совете, тянули их влево, а либералы под нажимом со стороны промышленников, помещиков и военачальников, у которых все большую тревогу вызывали крушение власти и беспорядки в народе, склонялись вправо. Керенский, видевший свою миссию в том, чтобы спасти Россию, по сути был посредником и специалистом по политическим компромиссам, не пользовавшимся большим доверием или уважением и не имевшим серьезной политической поддержки ни в одной из главных партий. Как он с досадой сетовал: «Мне приходится бороться с большевиками слева и с большевиками справа, а люди требуют, чтобы я опирался на тех или на других... Я хочу идти средним путем, но мне не от кого ждать помощи»¹⁶.

Казалось все более вероятным, что Временное правительство будет свергнуто тем или иным путем, но вставал вопрос — каким именно? Слева ему угрожало народное восстание в Петрограде и/или

16. Цит. по: А. Rabinowitch, *The Bolsheviks Come to Power* (New York, 1976), 115.

большевистский путч. Такую угрозу удалось предотвратить в июле, но активность немцев на северо-западных фронтах самым зловещим образом усиливала напряженность в вооруженных силах, окружавших Петроград, а наплыв недовольных, вооруженных и не имевших работы дезертиров, судя по всему, усилил угрозу уличного насилия в самом городе. Помимо этого, Временному правительству угрожал и возможный путч правых сил, желающих восстановить законность и порядок при помощи диктатуры. К лету этот курс обсуждался в высших армейских кругах и пользовался поддержкой со стороны ряда промышленников. Имелись признаки того, что даже кадеты, которым, очевидно, пришлось бы в публичных заявлениях осуждать такой шаг, про себя восприняли бы его с заметным облегчением.

В августе попытку правого переворота наконец осуществил генерал Лавр Корнилов, которого Керенский незадолго до того назначил главнокомандующим, уполномочив его восстановить порядок и дисциплину в российской армии. Корнилов явно руководствовался не личными амбициями, а своим пониманием национальных интересов. Собственно говоря, возможно, он даже считал, что Керенский будет только приветствовать вмешательство армии, предпринятое с целью создания сильного правительства и расправы с левыми смутьянами, поскольку Керенский, отчасти осведомленный о намерениях Корнилова, вел себя с ним особенно лицемерно. Недопонимание между двумя главными игроками запутало ситуацию, а неожиданный захват немцами Риги, произошедший накануне корниловского мятежа, лишь усилил панику, подозрительность и отчаяние, распространявшиеся среди российских гражданских

и военных вождей. На последней неделе августа генерал Корнилов, сбитый с толку, но полный решимости, снял с фронта войска и повел их на Петроград, объявив, что намерен подавить беспорядки в столице и спасти республику.

Мятеж Корнилова провалился главным образом из-за ненадежности войск и энергичных действий петроградских рабочих. Железнодорожники препятствовали движению войсковых эшелонов и отправляли их по другим направлениям; печатники прекратили выпуск газет, поддерживавших Корнилова; металлисты поспешно выходили встречать наступающие войска и объяснять им, что в Петрограде все спокойно и что офицеры их обманули. В этих условиях войска были деморализованы, мятеж погас еще на подступах к Петрограду без каких-либо серьезных вооруженных столкновений, а генерал Крымов, по приказу Корнилова командовавший частями, шедшими на Петроград, сдался Временному правительству, после чего покончил с собой. Сам Корнилов был арестован в Ставке, не оказав никакого сопротивления и взяв на себя всю полноту ответственности.

В Петрограде центристские и правые политики поспешили подтвердить свою лояльность Временному правительству, во главе которого остался Керенский. Но его позиция была еще сильнее подорвана его собственной ролью в корниловском мятеже, и это ослабило правительство. Исполком Петроградского совета тоже проявил себя не лучшим образом, поскольку сопротивление Корнилову было организовано главным образом на местном профсоюзном и заводском уровне, и это способствовало резкому росту доверия к большевикам, чем они почти сразу же воспользовались, сместив прежнее эсеровско-меньшевистское руко-

водство Совета. Сильнее всего эти события ударили по армейскому главнокомандованию, поскольку арест главнокомандующего и провал мятежа деморализовали командование и привели его в замешательство; отношения между офицерами и рядовыми резко ухудшились и, словно этого было мало, немцы продолжали наступление, явно нацеливаясь на Петроград. В середине сентября сменивший Корнилова генерал Алексеев неожиданно подал в отставку с поста главнокомандующего, сопроводив ее эмоциональным заявлением о высоких мотивах Корнилова. Алексеев полагал, что не может больше отвечать за армию, если в ней рухнула дисциплина, а «наши офицеры — мученики».

В практическом плане в этот час страшной угрозы я могу с ужасом констатировать, что у нас нет армии (при этих словах голос генерала задрожал и он пролил несколько слез), в то время как немцы готовы в любой момент нанести по нам окончательный, самый мощный удар¹⁷.

Больше всего от корниловского мятежа выиграли левые, поскольку он вдохнул реальное содержание в остававшуюся абстрактной идею о контрреволюционной угрозе справа, продемонстрировал силу рабочего класса и в то же время убедил многих рабочих в том, что лишь их вооруженная бдительность способна спасти революцию от ее врагов. Большевики, многие вожди которых по-прежнему находились в заключении или скрывались, не сыграли заметной роли в реальном противодействии Корнилову. Однако новый поворот массовых сим-

17. Интервью с генералом Алексеевым: Речь. 13.09.1917. С. 3; Robert Paul Browder and Alexander F. Kerensky, ed., *The Russian Provisional Government 1917. Documents* (Stanford, 1961), iii. 1622.

патий в их сторону, заметный уже в начале августа, резко ускорился после провала корниловского мятежа; а в практическом плане они имели возможность пожинать будущие плоды создания частей рабочей милиции, или «Красной гвардии», в ответ на угрозу со стороны Корнилова. Сила большевиков заключалась в том, что они были единственной партией, не запятнавшей себя связью с буржуазией и с февральским режимом. Кроме того, их партия наиболее четко отождествлялась с идеями пролетарской власти и вооруженного восстания.

Октябрьская революция

С апреля по август большевистский лозунг «Вся власть Советам!» по сути был провокацией — вызовом умеренным, контролировавшим Петроградский совет и не желавшим брать всю власть. Но положение изменилось после корниловского мятежа, когда умеренные утратили бразды правления. 31 августа большевики получили большинство в Петроградском совете, а 5 сентября — в Московском совете. Какими могли быть последствия в том случае, если бы на II Всероссийском съезде Советов, намеченном на октябрь, возобладали те же политические тенденции, что и в столицах? Стремилась ли большевики к квазизаконной передаче власти советам, основывавшейся на решении съезда о лишении Временного правительства его властных полномочий? Или же их старый лозунг на самом деле представлял собой призыв к восстанию либо заявление о том, что большевики (в отличие от всех прочих) не боятся взять власть в свои руки?

В сентябре Ленин отправил из своего финского убежища послание соратникам по партии, при-

зывая их готовиться к вооруженному восстанию. По его словам, момент для революции настал и им необходимо воспользоваться, пока еще не поздно. Любое промедление окажется фатальным. Большевики должны действовать *до того*, как откроется II съезд Советов, и предвосхитить те решения, которые он может принять.

Однако страстный призыв Ленина к немедленному вооруженному восстанию показался не совсем убедительным его коллегам по руководству партией. С какой стати большевикам было затевать отчаянную игру, если ситуация и без того обещала явную пользу? Более того, сам Ленин не возвращался и не брал дело в свои руки: ведь он бы, конечно, пошел на это, если бы говорил серьезно. Обвинения, предъявленные ему летом, несомненно, привели его во взвинченное состояние. Возможно, он размышлял о колебаниях, проявленных им самим и ЦК во время «Июльских дней», и убедил себя в том, что тогда был упущен редкий шанс взять власть. В любом случае Ленин, как и все великие вожди, был человеком темпераментным и его настроения могли вскоре измениться.

Поведение Ленина в тот момент, несомненно, было противоречивым. С одной стороны, он призывал к большевистскому восстанию. С другой стороны, он провел несколько недель в Финляндии, несмотря на то что Временное правительство освободило левых политиков, арестованных в июле, а большевики отныне контролировали Совет и момент, когда жизнь Ленина находилась в серьезной опасности, явно миновал. Когда Ленин наконец вернулся в Петроград (по-видимому, это произошло к концу первой недели октября), он продолжал скрываться, не вступая в контакт даже с боль-

шевиками, и поддерживал связи с ЦК своей партии лишь посредством раздраженных, увещательных писем.

10 октября ЦК большевиков согласился с тем, что восстание в принципе желательно. Но многие большевики явно склонялись к тому, чтобы воспользоваться своим влиянием в Совете для квазилегального, ненасильственного захвата власти. Согласно позднейшим воспоминаниям одного из членов петроградского большевистского комитета,

Едва ли кто-либо из нас полагал, что начинать следует с вооруженного захвата всех правительственных учреждений в заранее намеченный час... Мы представляли себе восстание просто как захват власти Петроградским советом. Совет перестанет подчиняться приказам Временного правительства, объявит властью себя и устранит всех, кто попытается помешать ему в этом¹⁸.

Большевистское большинство в Петроградском совете отныне возглавлял Троцкий, недавно выпущенный из тюрьмы и вступивший в партию большевиков. Он же был одним из вождей Совета в 1905 г. Хотя Троцкий открыто не выражал несогласия с Лениным (а впоследствии утверждал, что их взгляды полностью совпадали), представляется вероятным, что он тоже испытывал сомнения в отношении восстания и полагал, что задачу низложения Временного правительства может и должен решить Совет¹⁹.

18. Цит. по: Robert V. Daniels, *Red October* (New York, 1967), 82.

19. Действия и намерения главных участников Октябрьской революции из числа большевиков впоследствии трактовались самым произвольным образом и становились объектом политического мифотворчества — причем не только в официальной сталинской историографии, но и в класси-

Серьезные возражения против большевистского восстания выдвигали два старых товарища Ленина по партии Григорий Зиновьев и Лев Каменев. По их мнению, большевистский переворот с целью захвата власти был бы безответственным шагом, а любые надежды на то, что большевикам в одиночку удастся удержать власть, не имели под собой никаких оснований. После того как Зиновьев и Каменев выступили с этими аргументами, подписавшись своими именами, в небольшевистской газете («Новая жизнь» Максима Горького), гнев и возмущение Ленина не знали предела. И это тоже понятно, поскольку со стороны Каменева и Зиновьева это был не только акт неповиновения, но и открытое объявление о том, что большевики втайне готовят восстание.

В этих обстоятельствах может вызвать удивление то, что большевистский Октябрьский переворот действительно состоялся. Но по сути преждевременная огласка, вероятно, лишь помогла, а не помешала замыслам Ленина. Она поставила большевиков в такое положение, когда им было бы затруднительно *бездействовать*, если бы только они не были заранее арестованы или имели серьезные основания полагать, что рабочие, солдаты и матросы петроградского региона выступят против каких-либо революционных действий. Но Керенский не предпринимал против большевиков никаких решительных мер, а тот факт, что под их контролем находился Военно-революционный комитет Петроградского совета, делал осуществление переворота относительно несложной задачей.

ческой работе Троцкого историко-мемуарного характера «История Русской революции». См. обсуждение этой темы в: Daniels, *Red October*, ch. 11.

Главной функцией Военно-революционного комитета была организация пролетарского сопротивления контрреволюции à la Корнилов, а Керенский явно находился не в том положении, чтобы препятствовать этому. Еще одним важным фактором служила ситуация на фронте: немцы наступали, создавая угрозу Петрограду. Рабочие уже воспротивились приказу Временного правительства о вывозе из города крупнейших промышленных предприятий: они не доверяли намерениям правительства в отношении революции, как, собственно говоря, не верили и в его готовность сражаться с немцами. (Как ни странно, несмотря на поддержку рабочими большевистского «мирного» лозунга, и они, и большевики самым воинственным образом реагировали на прямую и явную германскую угрозу: старые лозунги о мире были почти не слышны осенью и зимой 1917 г., после падения Риги). Если бы Керенский попытался разоружить рабочих при приближении немцев, его бы, вероятно, линчевали как предателя и капитулянта.

Восстание началось 24 октября, накануне открытия II съезда Советов, когда силы Военно-революционного комитета Совета начали занимать важнейшие государственные учреждения, а также телеграфные конторы и железнодорожные вокзалы, установили заставы на городских мостах и окружили Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство.

Эти действия не встретили почти никакого вооруженного сопротивления. На улицах сохранялось спокойствие, а горожане продолжали заниматься своими повседневными делами. В ночь с 24 на 25 октября Ленин покинул свое убежище и присоединился к соратникам в Смольном институте, бывшем учебном заведении для благородных де-

виц, который стал штаб-квартирой Совета; Ленин тоже был спокоен, явно оправившись от приступа нервной тревоги, и как ни в чем не бывало вновь возглавил руководство партией.

Ко второй половине дня 25 октября переворот практически совершился — за таким досадным исключением, как захват Зимнего дворца, в котором по-прежнему находились в осаде члены Временного правительства. Зимний был взят поздно вечером в ходе довольно беспорядочного штурма позиций, удерживавшихся последними защитниками дворца. Это вовсе не такое героическое событие, каким его впоследствии рисовали советские источники: крейсер «Аврора», вставший на якорь в русле Невы напротив Зимнего, не сделал ни одного боевого выстрела, а отряды штурмующих упустили Керенского, покинувшего дворец через боковой подъезд и сумевшего сбежать из города на автомобиле. Кроме того, штурм Зимнего прошел не слишком удачно с точки зрения политической драматургии, поскольку съезд Советов — первое заседание которого по требованию большевиков было отложено на несколько часов — в итоге открылся еще до падения Зимнего, и это сорвало замысел большевиков начать его работу с драматического заявления о победе революции. Тем не менее они поставили съезд перед свершившимся фактом: февральский режим был низвергнут и власть перешла к октябрьским победителям.

Разумеется, при этом один вопрос остался без ответа: кем же были эти октябрьские победители? Призывая большевиков поднять восстание еще до съезда Советов, Ленин, очевидно, хотел, чтобы это звание досталось именно им. Но большевики по сути организовали восстание посредством Военно-революционного комитета Петроградского

совета, а комитет случайно или умышленно тянул с восстанием до самого открытия съезда. (Впоследствии Троцкий называл такое использование советов для оправдания захвата власти большевиками блестящей стратегией — надо думать, придуманной им самим, так как Ленин явно не имел к ней отношения²⁰). Известие о событиях в Петрограде, достигая провинций, чаще всего трактовалось как взятие власти советами.

Этот вопрос так и не был до конца прояснен на съезде Советов, открывшемся 25 октября в Петрограде. Оказалось, что явное большинство делегатов прибыло на съезд, имея полномочия поддерживать передачу всей власти советам. Но эта группа состояла не только из большевиков (из 670 делегатов съезда большевиками были 300, что делало их крупнейшей группировкой, но не обеспечивало им большинства), и такие полномочия не обязательно подразумевали одобрения превентивных действий, предпринятых большевиками. Эти действия были жестоко раскритикованы на первом заседании съезда большой группой меньшевиков и эсеров, покинувших съезд в знак протеста. В более примирительном тоне они осуждались группой меньшевиков во главе с Мартовым, старым другом Ленина; однако Троцкий ответил на эти нападки памятной фразой, в которой приговаривал критиков к отправке «на свалку истории».

На съезде большевики призвали к передаче власти по всей стране советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В том, что касалось центральной власти, отсюда, несомненно, логично вытекало, что место прежнего Временного правительства займет действующий Централь-

20. Лев Троцкий, *История русской революции* (Москва, 1997). Т. 2.

ный исполнительный комитет Советов, избранный съездом и включавший представителей ряда политических партий. Но вышло по-иному. К удивлению многих делегатов, было объявлено, что функции центрального правительства возьмет на себя новый Совет народных комиссаров, состав которого, включавший только большевиков, 26 октября был объявлен съезду оратором от большевистской партии. Главой нового правительства стал Ленин, а Троцкий получил должность народного комиссара (министра) иностранных дел.

Некоторые историки полагают, что однопартийное большевистское правление было результатом исторической случайности, а не сознательного намерения²¹, — иными словами, большевики не собирались брать власть только для себя. Но если за данным намерением стоял Ленин, то эта аргументация выглядит сомнительной; и Ленин пресек возражения других ведущих членов партии. В сентябре и октябре Ленин как будто бы однозначно хотел того, чтобы власть взяли большевики, а не многопартийные советы. Он даже не хотел использовать советы в качестве прикрытия, явно предпочитая организовать недвусмысленно большевистский переворот. Разумеется, в провинции непосредственным результатом Октябрьской революции было взятие власти советами, причем на местах в советах не всегда преобладали большевики. Хотя отношение, сложившееся у большевиков к советам после октября, допускает различные интерпретации, вероятно, было бы справедливо сказать, что большевики в принципе не возражали против власти советов на местах, если эти советы

21. См., например: Рой Медведев, *К суду истории* (Москва, 2011), гл. 11.

были безусловно большевистскими. Но это требование было трудно согласовать с демократическими выборами, допускающими участие других политических партий.

Несомненно, Ленин не был склонен к уступкам по вопросу коалиции в новом центральном правительстве — Совете народных комиссаров. В ноябре 1917 г., когда в ЦК большевиков обсуждалась возможность перехода от чисто большевистского правительства к более широкой социалистической коалиции, Ленин решительно выступил против такого шага, даже несмотря на то, что в знак протеста из правительства вышло несколько большевиков. Впоследствии в Совнаркоме было допущено несколько «левых эсеров» (из группы эсеров-раскольников, признавших Октябрьский переворот), но они были политиками, не имевшими серьезной партийной поддержки. Их изгнали из правительства в середине 1918 г., когда левые эсеры подняли мятеж, протестуя против мирного договора, незадолго до того подписанного с немцами. Это была последняя попытка большевиков создать коалиционное правительство с участием других партий.

Получили ли большевики от народа мандат на единовластие, или же им только казалось, что такой мандат у них есть? В ходе выборов в Учредительное собрание (состоявшихся, как и было запланировано еще до Октябрьского переворота, в ноябре 1917 г.) большевики получили 25% голосов избирателей. Это поставило их на второе место после эсеров, получивших 40% голосов (левые эсеры, поддержавшие большевиков по вопросу о перевороте, не фигурировали на выборах в качестве отдельной партии). Большевики ожидали лучшего результата, и это, пожалуй, можно объяснить, если рассмотреть процесс выборов более подроб-

но²². Большевики победили в Петрограде и Москве, а возможно, и во всей городской России в целом. В вооруженных силах, чьи пять миллионов голосов учитывались отдельно, большевики получили абсолютное большинство голосов в армиях Северного и Западного фронтов и на Балтийском флоте — среди тех избирателей, которых они лучше всего знали и где они были лучше всего известны. На южных фронтах и на Черноморском флоте они проиграли эсерам и украинским партиям. Общая победа эсеров являлась итогом того, что крестьяне в деревне отдавали свои голоса в основном за них. Но и здесь ситуация была не вполне очевидной. Крестьян на выборах, вероятно, волновал только один вопрос, а эсеровская и большевистская земельные программы совпадали практически по всем пунктам. Однако эсеры были намного лучше известны крестьянам, их традиционным избирателям. В тех случаях, когда крестьяне были знакомы с большевистской программой (обычно такое наблюдалось вблизи городов, армейских гарнизонов или железных дорог, где большевики вели более активную агитацию), их голоса оказывались разделены между большевиками и эсерами.

Тем не менее в демократической электоральной политике поражение остается поражением. Большевики, однако, смотрели на результаты выборов в Учредительное собрание иначе; они не стали подавать в отставку, потому что не добились победы (а когда Учредительное собрание начало работу и заняло по отношению к ним враждебную позицию, они бесцеремонно разогнали его). В том же,

22. Последующий анализ основывается на: O. Radkey, *Russia Goes to the Polls. The Election to the All-Russian Constituent Assembly 1917* (Ithaca, NY, 1989).

что касалось властных полномочий, они могли утверждать и утверждали, что представляют вовсе не все население страны. Они взяли власть от имени рабочего класса. Результаты выборов на II съезд Советов и в Учредительное собрание позволяли сделать вывод о том, что в октябре-ноябре 1917 г. большевики получили больше голосов рабочих, чем какая-либо иная партия.

Но что, если в дальнейшем рабочие отказали бы им в поддержке? Претензия большевиков на то, что они выражают волю пролетариата, основывалась как на фактах, так и на вере: пользуясь ленинскими терминами, вполне можно было сказать, что в определенный момент в будущем рабочие могли оказаться менее сознательными по сравнению с большевистской партией, но это не обязательно лишило бы ее мандата на правление. Возможно, большевики и не ожидали, что это случится. Но этого ожидали многие их противники в 1917 г., полагая, что партия Ленина не откажется от власти, даже если она утратит поддержку рабочего класса. Как предупреждал Энгельс, социалистическая партия, преждевременно пришедшая к власти, могла оказаться в изоляции, что заставило бы ее прибегнуть к репрессивной диктатуре. Вожди большевиков, и в первую очередь сам Ленин, очевидно, были готовы пойти на такой риск.

Гражданская война

ОКТАБРЬСКИЙ захват власти стал не концом большевистской революции, а лишь ее началом. Большевики одержали верх в Петрограде и, после недели уличных боев, в Москве. Но советам, возникшим в большинстве провинциальных центров, еще предстояло по примеру столиц свергнуть власть буржуазии (на местном уровне под этим нередко имелся в виду разгон «комитетов общественной безопасности», создававшихся видными горожанами); если же местный совет был слишком слаб для того, чтобы взять власть, столицы едва ли могли оказать ему поддержку¹. В провинции, как и в центре, большевикам приходилось определиться со своим отношением к местным советам, успешно утвердившим свою власть, но имевшим эсеровское или меньшевистское большинство. Более того, сельская Россия по большей части сбросила ярмо власти, исходящей из городов. В отдаленных и нерусских частях бывшей империи царил хаос. Если большевики взяли власть с намерением управлять страной в каком-то традиционном смысле, то их ожидала долгая и тяже-

1. Описание последствий революции в провинции см.: Peter Holquist, *Making War, Forging Revolution. Russia's Continuum of Crisis, 1913–1921* (Cambridge and London, 2002) (о Донской области); Donald J. Raleigh, *Experiencing Russia's Civil War. Politics, society, and Revolutionary Culture in Saratov, 1917–1922* (Princeton, 2002).

лая борьба с анархистскими, центробежными и сепаратистскими тенденциями.

Собственно говоря, будущая форма управления в России оставалась открытым вопросом. Судя по Октябрьскому перевороту в Петрограде, большевики сами не вполне верили в свой лозунг «Вся власть Советам!» С другой стороны, этот лозунг как будто бы вполне отвечал настроениям провинции зимой 1917—1918 гг., но, может быть, это лишь еще один способ сказать, что центральная власть в стране временно прекратила существование. Непонятно было и то, что имели в виду большевики под другим своим лозунгом — о «диктатуре пролетариата». Если, как настойчиво указывал Ленин в своих последних работах, это означало подавление контрреволюционных выступлений бывших имущих классов, то новой диктатуре следовало создать органы принуждения, сопоставимые по своим функциям с царской тайной полицией; если же это означало диктатуру большевистской партии, как подозревали многие политические оппоненты Ленина, то отсюда вытекали серьезные вопросы, связанные с дальнейшим существованием других политических партий. Но мог ли новый режим позволить себе прибегать к таким же репрессивным методам, которыми пользовалось старое самодержавие, и не лишиться при этом массовой поддержки? Более того, диктатура пролетариата как будто бы подразумевала широкие полномочия и независимость всех пролетарских институтов, включая профсоюзы и фабрично-заводские комитеты. А что, если бы профсоюзы и фабрично-заводские комитеты имели иное представление об интересах рабочих? И если «рабочий контроль» на предприятиях означал рабочее самоуправление, то было ли это совместимо с централизованным планированием?

ем экономического развития, которое большевики считали важнейшей задачей социализма?

Кроме того, революционному режиму в России следовало учитывать и свое положение в мире. Большевики считали себя составной частью международного пролетарского революционного движения и надеялись на то, что их успех в России послужит детонатором для аналогичных революций по всей Европе; первоначально они не рассматривали новую Советскую республику в качестве национального государства, которому придется поддерживать традиционные дипломатические отношения с другими государствами. Когда Троцкий был назначен наркомом иностранных дел, он представлял свою деятельность на этом посту следующим образом: «издам несколько прокламаций и закрою лавочку»; в начале 1918 г., в качестве советского представителя на Брест-Литовских мирных переговорах с Германией, он пытался (безуспешно) подорвать дипломатический процесс как таковой, через голову официальных германских представителей обратившись непосредственно к немецкому народу и, в первую очередь, к немецким солдатам на Восточном фронте. Осознание необходимости в традиционной дипломатии задерживалось из-за свойственного большевистским вождям в первые годы их власти глубокого убеждения в том, что русская революция долго не продержится, если ей на подмогу не придут пролетарские революции в более развитых капиталистических странах Европы. Только по мере осознания большевиками изоляции революционной России они начали переоценивать свою позицию по отношению к внешнему миру, и у них прочно укоренилась привычка сочетать революционные воззвания с более традиционными межгосударственными контактами.

Еще одну серьезную проблему составляли границы новой Советской республики и политика по отношению к нерусским национальностям. Хотя марксисты считали национализм разновидностью ложного сознания, Ленин перед войной с оговорками одобрял принцип национального самоопределения. У большевиков сохранялось прагматическое ощущение того, что с национализмом необходимо примириться, чтобы он не превратился в угрозу. Политика, проводившаяся с 1923 г., когда определилось устройство будущего Советского Союза, состояла в том, чтобы разоружить национализм, даровав народам «различные формы государственности»: отдельные национальные республики, защиту национальных меньшинств, поддержку национальных языков и культур и формирование национальных элит².

Однако национальное самоопределение должно было иметь пределы, как стало ясно в связи с включением территорий бывшей Российской империи в новую Советскую республику. Со стороны петроградских большевиков надеяться на революционную победу советской власти в Азербайджане было так же естественно, как надеяться на это в Венгрии, — хотя азербайджанцы, в качестве бывших подданных имперского Петербурга, едва ли могли это оценить. Кроме того, со стороны большевиков было естественно поддерживать советы рабочих депутатов на Украине и выступать против «буржуазных» украинских националистов, независимо от того, что в этих советах, в соответствии с этническим составом украинского рабочего класса, преобладали русские, евреи и поляки, кото-

2. Терри Мартин, *Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1929* (Москва, 2011), гл. 1.

рые были «чужаками» в глазах не только националистов, но и украинского крестьянства. Вставшая перед большевиками дилемма, самым драматическим образом давшая о себе знать в 1920 г., когда Красная армия наступала на Польшу и варшавские рабочие вышли отражать «русское вторжение», состояла в том, что политика пролетарского интернационализма при ее практическом воплощении обнаруживала неприятное сходство с политикой старорежимного русского империализма³.

Однако поведение и политика большевиков после Октябрьской революции складывались не в вакууме, и принципиальную роль при их объяснении почти неизменно играет фактор гражданской войны. Она началась в середине 1918 г., всего через несколько месяцев после формального заключения Брестского мира между Россией и Германией и окончательного выхода России из европейской войны. Сражения Гражданской войны шли на многих фронтах, против различных белых (то есть антибольшевистских) армий, которые пользовались поддержкой ряда иностранных держав, включая бывших союзников России по европейской войне. Большевики считали Гражданскую войну классовой войной, как во внутреннем, так и в международном плане: русский пролетариат против русской буржуазии, мировая революция (воплощением которой служила Советская республика) против мирового капитализма. Соответственно, победа красных (большевиков) в 1920 г. воспринималась как пролетарский триумф, но в то же время

3. См. обсуждение этих вопросов: Ronald G. Suny, «Nationalism and Class in the Russian Revolution: A Comparative Discussion», in E. Frankel, J. Frankel, and B. Knei-Paz (eds.), *Russia in Revolution: Reassessments of 1917* (Cambridge, 1992).

ожесточенность борьбы свидетельствовала о силе и решимости классовых врагов пролетариата. Хотя интервенция капиталистических держав закончилась выводом их войск, большевики не верили в то, что они ушли навсегда. Они ожидали, что в более подходящий момент силы мирового капитализма вернутся и попытаются задушить мировую пролетарскую революцию в ее колыбели.

Несомненно, Гражданская война оказала колоссальное влияние на большевиков и на молодую Советскую республику. Она поляризовала общество, надолго оставив множество обид и шрамов, а иностранная интервенция породила постоянный советский страх перед «капиталистическим окружением», включавший элементы паранойи и ксенофобии. Гражданская война разрушила экономику страны: промышленное производство почти прекратилось, а города опустели. Все это имело как политические, так и экономические и социальные последствия, поскольку привело по крайней мере к временному распаду и рассеянию промышленного пролетариата — того класса, от имени которого большевики взяли власть.

Именно в контексте гражданской войны большевики получили свой первый опыт правления, и это, безусловно, во многих важных отношениях сказалось на последующем развитии партии⁴. Во время Гражданской войны через службу в Красной армии прошло более полумиллиона коммунистов (причем примерно половина из них вступила в большевистскую партию уже во время службы). Из всех членов большевистской партии по состоянию на 1927 г.

4. О влиянии Гражданской войны см.: D. Koenker, W. Rosenberg, and R. Suny (eds.), *Party, State, and Society in the Russian Civil War* (Bloomington, Ind., 1989).

33% вступили в нее в 1917–1920 гг., в то время как доля вступивших в партию до 1917 г. составляла всего 1%⁵. Соответственно, о подпольной жизни дореволюционной партии — опыте, сформировавшем «старую гвардию» большевистских вождей, — в 1920-е гг. большинство членов партии знало лишь понаслышке. В глазах когорты, вступившей в партию во время Гражданской войны, партия являлась боевым братством в самом буквальном смысле слова. Коммунисты, служившие в Красной армии, привнесли в язык партийной политики военный жаргон и сделали армейскую гимнастерку и сапоги, — носившиеся даже теми, кто служил на гражданских должностях или не участвовал в войне из-за того, что был слишком молод, — практически униформой партийцев в 1920-х и начале 1930-х гг.

Согласно мнению одного историка, опыт Гражданской войны «милитаризовал революционную политическую культуру большевистского движения», оставив наследие, включавшее «готовность прибегать к мерам принуждения, правление путем администрирования, централизованное управление [и] упрощенное правосудие»⁶. Эта трактовка истоков советского (и сталинского) авторитаризма во многих отношениях более удовлетворительна, чем традиционная западная интерпретация, подчеркивающая дореволюционное наследие партии и насаждение Лениным централизованной партийной организации и строгой дисциплины. Тем не менее следует учитывать и другие факторы,

5. T. H. Rigby, *Communist Party Membership in the USSR, 1917–1967* (Princeton, NJ, 1968), 242; *Всесоюзная партийная перепись 1927 года. Основные итоги переписи* (Москва, 1927), 52.

6. Robert C. Tucker, «Stalinism as Revolution from Above», in Tucker, *Stalinism*, 91–92.

усиливавшие авторитарные тенденции в партии. Во-первых, диктатура меньшинства была практически обречена на авторитаризм, а те, кто играл роль ее исполнителей, почти неизбежно приобретали привычку к самодурству и грубости, которую после 1917 г. часто критиковал Ленин. Во-вторых, своим успехом в 1917 г. большевистская партия была обязана русским рабочим, солдатам и матросам; а эти люди, в отличие от старых большевиков, гораздо проще относились к подавлению оппозиции или навязыванию своего авторитета силой, а не путем тактичного убеждения.

Наконец, рассматривая связь между Гражданской войной и авторитарным правлением, необходимо помнить о том, что в 1918–1920 гг. не только большевики зависели от политической ситуации, но и она от них. Гражданская война не была непредвиденным актом божественного волеизъявления, за который большевики не несли никакой ответственности. Наоборот, большевики сами проводили связь между собой и вооруженной конфронтацией и насилием в период с февраля по октябрь 1917 г.; и совершенный ими Октябрьский переворот, как вожди большевиков прекрасно понимали еще до его осуществления, многие считали открытой провокацией, которая должна была привести к гражданской войне. И Гражданская война, несомненно, стала для нового режима крещением огнем, тем самым повлияв на его дальнейшее развитие. Но большевики рискнули пойти на такое крещение, а может быть, даже стремились к нему⁷.

7. Эта аргументация развивается в: Sheila Fitzpatrick, «The Civil War as a Formative Experience», in A. Gleason, P. Kenz, and R. Stites (eds.), *Bolshevik Culture* (Bloomington, Ind., 1985).

Гражданская война, Красная армия и ЧК

Сразу же после совершенного большевиками Октябрьского переворота кадетские газеты выступили с призывом взяться за оружие ради спасения революции, войска, верные генералу Краснову, безуспешно пытались разбить пробольшевистские силы и красногвардейцев в сражении на Пулковских высотах под Петроградом, а в Москве разгорелись тяжелые бои. Из этого предварительного раунда большевики вышли победителями. Но их почти наверняка ожидала новая борьба. В крупных русских армиях, сражавшихся на южных фронтах войны с Германией и Австро-Венгрией, большевики были намного менее популярны, чем на северо-западе. Германия оставалась в состоянии войны с Россией, и несмотря на те преимущества, которые давал немцам мир на Восточном фронте, новый российский режим мог рассчитывать на немецкую благосклонность не больше, чем на симпатии со стороны держав Антанты. Как писал в своем дневнике в феврале 1918 г., накануне нового немецкого наступления после срыва мирных переговоров в Брест-Литовске, командующий германскими силами на Восточном фронте,

Никакой иной путь невозможен, иначе эти скоты [большевики] вырежут украинцев, финнов и прибалтов, а затем тихо соберут новую революционную армию и превратят всю Европу в свинарник... Вся Россия не более чем громадная куча личинок — омерзительная, кишашая гнида⁸.

8. Цит. по: John W. Wheeler-Bennett, *Brest-Litovsk. The Forgotten Peace, March 1918* (New York, 1971), 243–4.

Во время январских мирных переговоров в Бресте Троцкий отверг условия, предложенные немцами, и попытался прибегнуть к стратегии «ни мира, ни войны», означавшей, что русские не станут продолжать войну, но и не подпишут мира на неприемлемых условиях. Это была чистая бравада, поскольку русская армия на фронте разлагалась, в то время как с немецкой армией, несмотря на большевистские призывы к пролетарскому братству, этого не происходило. Немцы не поддались на блеф Троцкого и начали наступление, оккупировав значительную часть Украины.

Ленин считал заключение мира настоятельной необходимостью. Эта позиция была весьма разумной, с учетом состояния российских вооруженных сил и высокой вероятности того, что большевикам вскоре предстояла гражданская война; кроме того, большевики еще до Октябрьской революции неоднократно утверждали, что Россия немедленно выйдет из европейской империалистической войны. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что к октябрю большевики стали «партией мира» в каком-либо значимом смысле слова. Петроградские рабочие, в октябре готовые сражаться за большевиков против Керенского, были готовы сражаться и за Петроград против немцев. Эти воинственные настроения получили широкое отражение в большевистской партии в первые месяцы 1918 г. и впоследствии стали важным активом нового режима во время Гражданской войны. В период брестских переговоров Ленин с величайшим трудом сумел убедить даже ЦК большевиков в необходимости заключить мир с Германией. Находившиеся в рядах партии «левые коммунисты» (эта группа включала и Николая Бухарина, впоследствии вошедшего в историю в качестве последнего

серьезного противника Сталина в борьбе за власть), выступали за революционную партизанскую войну против германских захватчиков; аналогичную позицию занимали и левые эсеры, в данный момент находившиеся в союзе с большевиками. Ленин в итоге провел решение через ЦК большевиков, угрожая своей отставкой, но эта победа далась ему нелегко. Условия, выдвинутые немцами после своего успешного наступления, были значительно более жесткими по сравнению с теми, которые предлагались ими в январе. (Однако большевикам повезло: впоследствии Германия потерпела поражение в европейской войне и в связи с этим потеряла свои завоевания на востоке).

Брестский мир дал лишь недолгую отсрочку военной угрозы. Офицеры старой русской армии собирали силы на юге, в казачьих землях на Дону и на Кубани, в то время как адмирал Колчак создал антибольшевистское правительство в Сибири. Британцы высадились в двух северных российских портах — Архангельске и Мурманске — под предлогом борьбы с немцами, но в реальности также и с намерением поддерживать местные силы, оппозиционные новому советскому режиму.

Вследствие странной причуды войны через российскую территорию перемещались даже нерусские войска, а именно Чехословацкий легион численностью примерно в 30 тыс. человек, который надеялся добраться до Западного фронта прежде, чем кончится европейская война, и подкрепить претензии на независимость своей страны, сражаясь на стороне Антанты против своих бывших австрийских господ. Будучи не в состоянии пересечь линию фронта со стороны России, чехи пустились в невероятное путешествие на *восток* по Транссибирской железной дороге, предполагая достичь

Владивостока и вернуться в Европу морем. Большевики санкционировали этот маршрут, но это не помешало местным советам враждебно реагировать на прибытие эшелонов с вооруженными иностранцами на железнодорожные станции, лежавшие на их пути. В мае 1918 г. в уральском городе Челябинске произошло первое столкновение чехов с городским советом, в котором верховодили большевики. Другие чешские части поддерживали российских эсеров в Самаре, где те восстали против большевиков и создали недолговечную Поволжскую республику. В итоге чехам пришлось выбираться из России практически с боями, и прошло много месяцев, прежде чем все они были эвакуированы из Владивостока и доставлены в Европу.

Собственно Гражданская война — большевики-«красные» против российских «белых» противников большевиков — началась летом 1918 г. К тому времени большевики перенесли столицу в Москву, поскольку Петроград, избежавший захвата немцами, оказался под ударом белой армии во главе с генералом Юденичем. Однако многие регионы страны (включая Сибирь, южную Россию, Кавказ, Украину и даже значительную часть Урала и Поволжья, где местные большевики время от времени брали под свой контроль многие из городских советов) фактически не подчинялись Москве, а белые армии угрожали Советской республике с востока, северо-запада и юга. Такие союзные державы, как Великобритания и Франция, проявляли крайнюю враждебность по отношению к новому российскому режиму и поддерживали белых, хотя их прямое военное вмешательство не принимало сколько-нибудь значительных масштабов. И США, и Япония отправили войска в Сибирь — японцы надеялись на территориальные приобретения, а за американ-

ской интервенцией стояли невятные намерения сдерживать японцев, охранять Транссибирскую магистраль и, возможно, поддержать сибирское правительство Колчака в том случае, если оно будет соответствовать американским демократическим стандартам.

Хотя положение большевиков в 1919 г., когда подвластная им территория сократилась примерно до границ Московского государства в XVI в., выглядело совершенно безнадежным, их противники тоже столкнулись с громадными проблемами. Во-первых, белые армии действовали в целом независимо друг от друга, не имея никакого центрального управления или координации. Во-вторых, власть белых на их территориальных базах была еще менее прочной, чем у большевиков. Там, где белые создавали региональные правительства, административный аппарат приходилось выстраивать практически с нуля, и результаты оказывались крайне неудовлетворительными. Исторически сложившаяся в России система транспорта и связи, сильно завязанная на Москву и Петербург, не способствовала военным действиям белых на периферии страны. Белым приходилось бороться не только с красными, но и с так называемыми зелеными — крестьянскими и казачьими бандами, не становившимися ни на ту, ни на другую сторону, но проявлявшими наибольшую активность в удаленных регионах, где базировались белые. Армиям белых, хорошо обеспеченным офицерами старой царской армии, не хватало новобранцев и призывников, которыми бы те могли командовать.

Боевой силой большевиков была Красная армия, созданная под началом Троцкого, назначенного весной 1918 г. наркомом по военным делам. Красную армию приходилось строить на пустом

месте, поскольку распад старой русской армии зашел слишком далеко и стал необратимым (вскоре после взятия большевиками власти они объявили ее полную демобилизацию). Ядро Красной армии, созданное в начале 1918 г., состояло из красногвардейцев с заводов и пробольшевицких частей старой армии и флота. Оно расширялось за счет добровольцев, а начиная с лета 1918 г., и путем выборочного призыва. Первыми призывались рабочие и коммунисты, на протяжении всей Гражданской войны составлявшие значительную долю боевых частей. Однако к концу Гражданской войны Красная армия превратилась в громадную структуру, насчитывавшую более 5 миллионов военнослужащих — в основном призывников-крестьян. Боевые части составляли лишь примерно десятую часть армии (силы, развернутые красными либо белыми на каком-либо конкретном фронте, редко превышали численностью 100 тыс. человек), остальные же были заняты в снабжении, на транспорте или на административной работе. Красной армии в значительной степени пришлось заполнять вакуум, возникший вследствие развала гражданской администрации: армия стала крупнейшей и наиболее отлаженной бюрократической машиной, имевшейся у советского режима в первые годы его существования и первым претендентом на все доступные ресурсы.

Хотя многие большевики в идеологическом плане предпочитали такие военизированные структуры милиционного типа, как Красная гвардия, Красная армия с самого начала строилась по образцу регулярных армий: ее бойцы подчинялись военной дисциплине, а офицеры назначались, а не выбирались. Из-за нехватки обученных военных профессионалов Троцкий и Ленин выступали за использо-

вание офицеров старой царской армии, хотя такая политика серьезно критиковалась членами большевистской партии, а сложившаяся в ней фракция, носившая название «Военная оппозиция», пыталась добиться ее отмены на двух партийных съездах подряд. К концу Гражданской войны в Красной армии служило более 50 тыс. бывших царских офицеров, в большинстве своем мобилизованных; выходцами именно из этой группы стало подавляющее большинство старших красноармейских военачальников. Чтобы обеспечить лояльность старых офицеров, к ним приставлялись политкомиссары, обычно из числа коммунистов, наряду с командирами подписывавшие все приказы и в конечном счете делившие с ними ответственность.

Советский режим в дополнение к своим вооруженным силам быстро учредил и силы безопасности — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, известную как ЧК. Когда эта организация создавалась в декабре 1917 г., ее непосредственная задача сводилась к пресечению вспышек бандитизма, грабежей и разгромов винных магазинов, последовавших за октябрьским захватом власти. Но вскоре она приобрела более широкие полномочия тайной полиции, преследовавшей заговоры против режима и присматривавшей за теми группами, чья лояльность была сомнительной, включая буржуазных «классовых врагов», чиновников старого режима и Временного правительства и членов оппозиционных политических партий. После начала Гражданской войны ЧК превратилась в орган террора, вершивший скорый суд (включая казни), производивший массовые аресты и бравший по принципу случайного отбора заложников на территориях, какое-то время находившихся под

контролем белых или подозревавшихся в симпатиях к ним. Согласно подсчетам самих большевиков по 20 губерниям европейской России за 1918 и первую половину 1919 г., ЧК без суда расстреляла не менее 8389 человек и арестовала 87 тысяч⁹.

Аналогом большевистского «Красного террора» служил «Белый террор», практиковавшийся антибольшевистскими силами на подконтрольных им территориях, и каждая из сторон приписывала другой одни и те же зверства. Однако большевики не скрывали применения ими террора (означавшего не только упрощенное судопроизводство, но и случайный характер наказаний, не связанных с конкретной виной и направленных на запугивание конкретной группы или населения в целом) и гордились тем, что трезво относятся к насилию, избегая буржуазного лицемерия и признавая, что власть любого класса, включая и пролетариат, подразумевает принуждение по отношению к другим классам. Ленин и Троцкий выражали презрение к социалистам, не понимавшим необходимости террора. «Что это за революция, если мы не готовы расстрелять саботажника или белогвардейца?» — увещевал Ленин своих коллег в новом правительстве¹⁰.

В попытках найти исторические параллели деятельности ЧК большевики обычно ссылались на революционный террор 1794 г. во Франции. Параллелей с царской тайной полицией они не усматривали, хотя западные историки нередко видели сходство между ней и ЧК. По сути, последняя

9. Цифры приводятся по: Александр Солженицын, *Архипелаг ГУЛАГ* (Москва, 2017), гл. 8.

10. Примеры заявлений Ленина по поводу террора см.: W. Bruce Lincoln, *Red Victory. A History of the Russian Civil War* (New York, 1989), 134–9; о взглядах Троцкого см. его работу «Терроризм и коммунизм» (1920).

действовала намного более открыто и жестоко, чем старая полиция: стиль ее работы имел больше сходства, с одной стороны, с «классовой ненавистью» балтийских матросов, в 1917 г. расправлявшихся со своими офицерами, а с другой — со столыпинским вооруженным умиротворением деревни в 1906–1907 гг. Параллель с царской тайной полицией стала более уместна после Гражданской войны, когда на смену ЧК пришло ГПУ (Государственное политическое управление) — этот шаг связывался с отказом от террора и насаждением законности, — после чего работа органов безопасности стала более формализованной, бюрократизированной и скрытной. В такой более длительной перспективе, несомненно, хорошо видны элементы преемственности (хотя, очевидно, не кадровой) между царской и советской тайной полицией; и чем более явными оказывались эти элементы, тем более уклончивыми и лицемерными становились в СССР разговоры о работе органов безопасности.

И Красная армия, и ЧК внесли важный вклад в победу большевиков в Гражданской войне. Однако было бы неправильно объяснять эту победу одними лишь ссылками на военную силу и террор, тем более что еще никто не нашел способа оценить соотношение сил между красными и белыми. Нельзя не учитывать также активную поддержку и пассивное одобрение со стороны общества, причем эти факторы, вероятно, носили решающий характер. Красные пользовались активной поддержкой городского рабочего класса, при наличии большевистской партии в качестве организационного ядра. Белых активно поддерживали старые средние и верхние классы, а роль главной организующей силы играла часть прежнего царского офицерского корпуса. Но, несомненно, в конечном

счете все определялось позицией крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения.

И красные, и белые мобилизовали крестьян на подконтрольных им территориях, и в обоих случаях уровень дезертирства был весьма велик. Однако по мере продолжения Гражданской войны у белых возникало гораздо больше проблем с мобилизованными крестьянами, чем у красных. Проводившаяся красными политика реквизиций зерна (см. ниже, с. 81) возмущала крестьян, но белые в этом отношении ничем не отличались от своих противников. Кроме того, крестьяне не слишком стремились служить ни в одной армии, как в полной мере продемонстрировал опыт российской армии в 1917 г. Однако массовое дезертирство крестьян в 1917 г. было тесно связано с захватом земли и ее перераспределением жителями деревни. Этот процесс в целом завершился к концу 1918 г. (что заметно ослабило нежелание крестьян служить в армии), и большевики его одобряли. С другой стороны, белые неодобрительно относились к захвату земли и поддерживали претензии бывших землевладельцев. Таким образом, с точки зрения принципиально важного земельного вопроса большевики были меньшим злом¹¹.

Военный коммунизм

Военная экономика досталась большевикам в состоянии почти полного краха, и их первоочередная и важнейшая задача заключалась в том, чтобы

11. О настроениях крестьян см.: Orlando Figes, *Peasant Russia, Civil War. The Volga Countryside in Revolution, 1917–1921* (Oxford, 1989).

удержать ее на плаву¹². Таким был прагматический контекст экономической политики времен Гражданской войны, впоследствии получившей название «военный коммунизм». Но существовал и идеологический контекст. В долгосрочном плане большевики ставили своей целью отмену частной собственности и свободного рынка и распределение товаров по потребностям, а в краткосрочном плане от них, возможно, ожидался выбор политики, которая приблизила бы воплощение этих идеалов. Вопрос о соотношении прагматизма и идеологии в военном коммунизме — давняя тема дискуссий¹³: проблема состоит в том, что такие меры, как национализация и государственное распределение, вполне могут считаться как прагматическим ответом на требования войны, так и идеологическим императивом коммунизма. Эта дискуссия позволяет всем ее участникам ссылаться на заявления Ленина и других ведущих большевиков, поскольку точного ответа не знали они сами. С точки зрения большевиков 1921 г., когда от военного коммунизма отказались в пользу Новой экономической политики, прагматическая интерпретация была явно предпочтительной: после того как военный коммунизм потерпел неудачу, о его идеологической основе следовало помалкивать. Но с точки зрения более ранних большевистских представлений — например, тех, что изложены в классической работе Бухарина и Преображенского «Азбука коммунизма» (1919), — было верно обратное. Пока проводилась в жизнь политика военного коммунизма,

12. Об экономике см.: Silvana Malle, *The Economic Organization of War Communism, 1918–1921* (Cambridge, 1985).

13. См.: Alec Nove, *An Economic History of the USSR* (London, 1969), ch. 3.

большевики естественным образом давали ей идеологическое обоснование — и тем самым демонстрировали, что партия, вооруженная научной идеологией марксизма, полностью контролирует события, а не просто пытается поспевать за ними.

За этими дискуссиями скрывается вопрос о том, насколько быстрым, по мнению большевиков, могло быть их продвижение к коммунизму; ответ же зависит от того, говорим ли мы о 1918-м или о 1920 г. Первые шаги большевиков, как и их заявления относительно будущего, были осторожными. Однако после начала Гражданской войны в середине 1918 г. прежняя сдержанность начала покидать большевиков. Чтобы справиться с отчаянной ситуацией, они прибегали ко все более радикальной политике и в ходе этого процесса пытались расширить сферу государственного централизованного контроля намного быстрее и в намного большей степени, чем планировали изначально. В 1920 г., когда перед большевиками маячили победа в Гражданской войне и катастрофа в экономике, ими овладели эйфория и отчаяние. Пока старый мир сгорал в огне революции и Гражданской войны, многим большевикам казалось, что из пепла, подобно фениксу, вот-вот восстанет новый мир. Эта надежда, возможно, в большей степени проистекала из анархистской идеологии, чем из марксизма, но тем не менее она находила выражение в марксистских терминах: после победы пролетарской революции наступление коммунизма было неизбежно — казалось, что это был вопрос всего нескольких недель или месяцев.

Четкую иллюстрацию этого развития событий мы находим в одной из ключевых областей экономической политики — области национализации. Большевики, будучи хорошими марксистами, по-

сле Октябрьской революции очень быстро национализировали банки и кредитную сферу. Но они *не стали* немедленно приступать к массовой национализации промышленности: первые декреты о национализации касались только таких отдельных крупных предприятий, как Путиловский завод, которые уже были тесно связаны с государством благодаря военному производству и государственным заказам.

Однако целый ряд обстоятельств привел к резкому расширению масштабов национализации по сравнению с первоначальными краткосрочными намерениями большевиков. Местные советы экспроприировали заводы своей властью. Одни предприятия были брошены своими владельцами и управляющими; другие были национализированы по просьбе их собственных рабочих, выгнавших прежнее руководство, или даже по просьбе руководства, нуждавшегося в защите от неуправляемых рабочих. Летом 1918 г. правительство издало декрет о национализации всех крупных предприятий, и по оценкам, к осени 1919 г. было реально национализировано более 80% таких предприятий. Это намного превосходило организационные способности нового Высшего совета народного хозяйства: на практике, если самим рабочим не удавалось обеспечить снабжение заводов сырьем и наладить сбыт готовой продукции, заводы нередко просто закрывались. Тем не менее, зайдя так далеко, большевики чувствовали себя обязанными пойти еще дальше. В ноябре 1920 г. правительство национализировало даже мелкие предприятия — по крайней мере на бумаге. Разумеется, на практике большевикам было непросто даже назвать или выявить свою новую собственность, не говоря уже о том, чтобы управлять ею. Однако в теории вся

сфера промышленного производства оказалась в руках советской власти, и частью централизованно управляемой экономики стали даже ремесленные мастерские и мельницы.

Аналогичная логика событий к концу Гражданской войны привела большевиков к почти полному запрету свободной торговли и к созданию практически безденежной экономики. От своих предшественников они унаследовали карточную систему в городах (учрежденную в 1916 г.) и государственную монополию на зерно, которая в теории требовала от крестьян сдачи всех своих хлебных излишков (учреждена весной 1917 г. Временным правительством). Но в городах все равно не хватало хлеба и прочих видов продовольствия, потому что крестьяне не желали продавать свою продукцию в условиях, когда с рынка почти полностью исчезли промышленные товары. Вскоре после Октябрьской революции большевики попытались увеличить поставки зерна, вместо денег предлагая за него крестьянам промышленные товары. Кроме того, они национализировали оптовую торговлю, а после начала Гражданской войны запретили свободную розничную торговлю большинством важнейших видов продовольствия и промышленных товаров и попытались превратить потребительские кооперативы в государственную распределительную сеть¹⁴. Это были чрезвычайные меры, направленные на борьбу с продовольственным кризисом в городах и на решение проблем армейского снабжения. Но большевики, очевидно, могли оправдывать их — и оправдывали — с идеологической точки зрения.

14. О торговой политике см.: Julie Hessler, *A Social History of Soviet Trade* (Princeton, 2004), ch. 2.

По мере того как углублялся продовольственный кризис в городах, основной формой обмена стал бартер, а деньги лишились ценности. К 1920 г. заработная плата и жалованье отчасти выплачивались натурой (продовольствием и промтоварами), и правительство даже предприняло попытку составить бюджет на товарной, а не на денежной основе. Для индивидуальных пользователей была отменена оплата городских коммунальных услуг, в той мере, в какой они еще функционировали в деградирующих городах. Некоторые большевики приветствовали эту меру как идеологический триумф — «отмирание денег», свидетельствовавшее о том, насколько близко общество подошло к коммунизму. Однако менее оптимистически настроенные наблюдатели воспринимали происходящее как обвальную инфляцию.

К несчастью для большевиков, идеология и практические императивы не всегда настолько совпадали друг с другом. Расхождение между ними (а также некоторая неуверенность самих большевиков в отношении того, что их идеология реально означала в практическом отношении) было особенно очевидно в сфере политики по отношению к рабочему классу. Например, в том, что касалось заработной платы, большевики скорее прислушивались к эгалитарным инстинктам, нежели практиковали строго эгалитарную политику. В интересах максимизации производства они пытались сохранить сдельную оплату труда в промышленности, хотя рабочие считали такой тип оплаты по сути своей неэгалитарным и несправедливым. В период Гражданской войны нехватка товаров и их нормирование, вероятно, сглаживали неравенство в городах, но это едва ли можно причислить к достижениям большевиков. По сути, система нормирования

при военном коммунизме благоприятствовала некоторым категориям населения, включая персонал Красной армии, квалифицированных рабочих в ключевых отраслях промышленности, коммунистических функционеров и некоторые группы интеллигенции.

Еще одним щекотливым вопросом была организация производства. Кто должен был руководить предприятиями — сами рабочие (на что как будто бы указывало поощрение большевиками в 1917 г. «рабочего контроля») или управляющие, назначенные государством и выполняющие указания центральных плановых и координирующих органов? Большевики предпочитали второй вариант, но фактическим итогом в период военного коммунизма стал компромисс, принимавший на местах различные конкретные формы. Некоторые предприятия по-прежнему управлялись выборными рабочими комитетами. Во главе других стояли назначенные директора — нередко коммунисты, но порой также бывшие управляющие, главные инженеры или даже владельцы заводов. Также известны случаи, когда управлять предприятием назначался рабочий или группа рабочих из заводского комитета или местного профсоюза, и этот промежуточный вариант — нечто среднее между рабочим контролем и назначенным руководством — нередко оказывался самым удачным.

По отношению к крестьянству первостепенной проблемой для большевиков была практическая задача обеспечения страны продовольствием. Поставки зерна государству не удалось наладить, ни запретив частную торговлю зерном, ни предлагая в оплату промышленные товары вместо денег: государство по-прежнему мало что могло предложить крестьянам, и те все так же не желали сда-

вать ему свою продукцию. В условиях крайней потребности в продовольствии для городов и для Красной армии государству приходилось отбирать у крестьян продукцию с помощью убеждения, уловок, угроз или применения силы. Большевики проводили политику хлебных реквизиций, отправляя отряды солдат и рабочих — как правило, вооруженных, а по возможности также снабжавшихся товарами для бартерного обмена, — чтобы забрать зерно, спрятанное в крестьянских амбарах¹⁵. Очевидно, это приводило к напряженным отношениям между советским режимом и крестьянством. Однако белые поступали точно так же, как и всякая оккупационная армия в истории. Необходимость жить за счет деревни, вероятно, удивляла большевиков сильнее, чем самих крестьян.

Но существовали и другие аспекты большевистской политики, которые явно изумляли крестьян и вызывали у них тревогу. Во-первых, большевики пытались обеспечить поставки зерна, раскалывая деревню на противостоящие друг другу группы. Считая, что развитие сельского капитализма уже привело к существенному классовому расслоению среди крестьян, большевики ожидали получить инстинктивную поддержку со стороны бедных и безземельных крестьян и готовились к инстинктивной оппозиции со стороны более зажиточных крестьян. Поэтому они начали создавать сельские комитеты бедноты и поощряли их сотрудничество с советскими властями при изъятии зерна у зажиточных крестьян. Эта попытка закончилась полным провалом, отчасти вследствие традиционной сельской солидарности против чужаков, а отча-

15. О снабжении продовольствием см.: Lars T. Lih, *Bread and Authority in Russia 1914–1921* (Berkeley, 1990).

сти из-за того, что положение многих безземельных и бедных крестьян улучшилось благодаря захватам и перераспределению земли в 1917–1918 гг. Что еще хуже, она показала крестьянам, что большевистское понимание революции в деревне весьма отличалось от их собственного.

В глазах большевиков, по-прежнему мысливших в терминах старой марксистской дискуссии с народниками, деревенская община представляла собой отмирающий институт, развращенный царским государством и подорванный развитием сельского капитализма, а потому не имеющий никакого потенциала к социалистическому развитию. Более того, по мнению большевиков, вслед за «первой революцией» в деревне — захватом земли и ее эгалитарным перераспределением — уже началась «вторая революция», классовая война между богатыми и бедными крестьянами, разрушавшая единство деревенской общины и неизбежно подрывавшая авторитет мира¹⁶. С другой стороны, крестьяне воспринимали общину как подлинно крестьянский институт, традиционно угнетавшийся и эксплуатировавшийся государством, а теперь наконец-то сбросивший с себя его оковы и совершивший крестьянскую революцию.

Хотя большевики в 1917–1918 гг. не навязывали крестьянам свою волю, их долгосрочные планы в отношении деревни были не менее разрушительными, чем у Столыпина. Большевики не одобряли почти ни одного аспекта традиционного сельского строя, начиная с мира и чересполосной системы распределения земли и кончая патриархальной

16. Указания на отсутствие «второй революции» см.: T. Shanin, *The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia 1910–1925* (Oxford, 1972), 145–161.

семьей (в «Азбуке коммунизма» даже предсказывалось то время, когда крестьянские семьи откажутся от «варварского» и неэкономного обычая ужинать дома и будут вместе с соседями ходить в общественную сельскую столовую¹⁷). Они вмешивались в крестьянские дела, подобно Столыпину, и хотя в принципе не могли разделять его энтузиазма по отношению к мелкобуржуазному фермерству, им хватало врожденной неприязни к крестьянской отсталости для того, чтобы продолжить столыпинскую политику консолидации разрозненных земельных наделов домохозяйств в крупные участки, пригодные для современного мелкого фермерского хозяйства¹⁸.

Но на самом деле большевики были заинтересованы в крупномасштабных сельскохозяйственных предприятиях, и только продиктованная политикой необходимость завоевать симпатии крестьянства вынудила их к тому, чтобы сквозь пальцы смотреть на раздел крупных поместий, происходивший в 1917–1918 гг. На некоторых оставшихся государственных землях они создавали государственные хозяйства (совхозы) — по сути, представлявшие собой социалистический эквивалент крупных капиталистических хозяйств, где назначенные государством управляющие контролировали работу сельскохозяйственных рабочих, получавших зарплату.

17. Николай Бухарин и Евгений Преображенский, *Азбука коммунизма* (Петроград, 1920), § 21.

18. О преемственности между периодом столыпинских реформ и 1920-ми гг., особенно с точки зрения присутствия в деревне сельскохозяйственных специалистов, занятых консолидацией земельных наделов, см.: George L. Yaney, «Agricultural Administration in Russia from the Stolypin Land Reform to Forced Collectivization: An Interpretive Study», in James R. Millar (ed.), *The Soviet Rural Community* (Urbana, Ill., 1971), 3–35.

Кроме того, большевики считали, что в политическом плане коллективные хозяйства (колхозы) были более предпочтительными по сравнению с традиционными или индивидуальными мелкими крестьянскими хозяйствами; некоторое их количество было создано во время Гражданской войны — как правило, демобилизованными солдатами или рабочими, бежавшими из охваченных голодом городов. В колхозах не было земельной чересполосицы, в отличие от традиционной деревни — вместо этого там практиковались коллективные обработка земли и сбыт продукции. Первые колхозники нередко придерживались идеологии, аналогичной идеологии основателей утопических сельскохозяйственных общин в США и других странах, и сообща владели всеми своими активами и имуществом; с утопистами их роднило и то, что им редко удавалось успешно вести хозяйство или сколько-нибудь долго просуществовать в качестве гармоничной общины. Крестьяне относились и к совхозам, и к колхозам с подозрением. Такие хозяйства были слишком слабыми и слишком малочисленными, чтобы создавать серьезную угрозу традиционному крестьянскому сельскому хозяйству. Но само их существование напоминало крестьянам о странных идеях большевиков и о том, что им нельзя слишком доверять.

Представления о новом мире

В годы Гражданской войны большевистское мышление отличалось крайней непрактичностью и утопичностью¹⁹. Эта черта, несомненно, присуща всем

19. См.: Richard Stites, *Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution* (Oxford, 1989); William

успешным революциям: революционерами всегда движут энтузиазм и иррациональные надежды, поскольку иначе здравый смысл подсказал бы им, что риски и издержки революции перевешивают ее возможные плюсы. Большевики считали себя свободными от утопизма вследствие научного характера их социализма. Но независимо от того, насколько они были правы в отношении научной природы марксизма, любая наука нуждается в интерпретаторах — людях, выносящих субъективные суждения и пристрастных. Большевики были энтузиастами революции, а не ассистентами в лаборатории.

Субъективным суждением было и мнение о том, что в 1917 г. Россия была готова к пролетарской революции, хотя большевики в поддержку этой точки зрения ссылались на марксистскую социальную теорию. Вопросом веры, а не научным предсказанием была идея о неизбежности мировой революции (в конце концов, с точки зрения марксизма нельзя было исключать, что большевики совершили ошибку и слишком рано пришли к власти). В марксистской теории едва ли содержалось обоснование убеждения в том, что в России вот-вот наступит коммунизм, впоследствии служившего основой экономической политики военного коммунизма. К 1920 г. представления большевиков о реальном мире во многих отношениях были едва ли не смехотворно искаженными. Они послали Красную армию в наступление на Варшаву, поскольку многим большевикам представлялось очевидным, что поляки увидят в этих бойцах братьев-пролетариев, а не русских агрессоров.

G. Rosenberg (ed.), *Bolshevik Visions. First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia* (2nd edn., Ann Arbor, Mich., 1990).

Внутри страны большевики принимали ползучую инфляцию и обесценивание денег за их отмирание при коммунизме. После того как во время Гражданской войны боевые действия и голод привели к появлению орд беспризорных детей, некоторые большевики даже в этом увидели скрытый подарок судьбы, поскольку государство могло дать этим детям подлинно коллективистское воспитание (в детских домах) и они окажутся ограждены от буржуазного влияния со стороны старой семьи.

Тот же дух замечен и в первых подходах большевиков к задачам управления страной и налаживания административного аппарата. Свою роль здесь сыграли такие утопические источники, как тезис Маркса и Энгельса об отмирании государства при коммунизме и работа Ленина «Государство и революция» (1917), где он высказал мнение о том, что административная работа в итоге перестанет быть делом профессионалов и превратится в обязанность всех граждан, которые будут заниматься ею поочередно. На деле же Ленин в вопросах управления государством всегда придерживался прагматичного реализма: он не входил в число тех большевиков, которые, увидев крах старого административного аппарата в 1917–1920 гг., сделали вывод о том, что в России, идущей к коммунизму, уже началось отмирание государства.

Тем не менее большевики Бухарин и Преображенский в своей «Азбуке коммунизма» (1919) предавались куда более необузданным фантазиям. Они представляли себе что-то вроде деперсонализованного, научно регулируемого мира, высмеянного их современником, русским писателем Евгением Замятиным в романе «Мы» (написанном в 1920 г.) и впоследствии описанного Джорджем Оруэллом в романе «1984». Этот мир представлял собой ан-

титезу какой-либо реальной России — в прошлом, настоящем или будущем; и в хаосе Гражданской войны это, должно быть, делало его особенно привлекательным. Объясняя, каким образом можно будет управлять централизованной плановой экономикой после отмирания государства, Бухарин и Преображенский писали:

Главное руководство будет лежать в разного рода счетных конторах, или статистических (вычислительных) бюро. Там будет изо дня в день вестись учет всему производству и потребностям производства; будет указываться также, куда нужно добавить рабочие руки, откуда убавить, сколько работать. И так как все будут с детства привычны к общему труду и понимать, что он нужен и что жить всего легче, когда все идет по рассчитанному плану, как по маслу, то все и работают, смотря по указаниям этих вычислительных бюро. Тут не нужно особых министров, полиции, тюрем, законов, декретов, — ничего. Как в оркестре все смотрят на дирижерскую палочку и действуют, смотря на нее, так и здесь будут смотреть на расчетные таблицы и соответственно этому вести работу²⁰.

В этом заявлении мы благодаря роману Оруэлла «1984» можем услышать зловещие нотки, но современники видели в этом образчик смелого, революционного мышления, столь же восхитительно передового (и далекого от обыденной реальности), как футуристическое искусство. Гражданская война была эпохой расцвета экспериментов в интеллектуальной и культурной сферах, и от молодых радикальных интеллектуалов в обязательном порядке требовалось иконоборческое отношение к прошлому. Воображение художников и интеллектуалов захватывали машины, — включая и «упорядоченную

20. Бухарин и Преображенский, *Азбука коммунизма*, § 21.

машину» будущего общества. Чувства, духовность, драма человеческого существования и чрезмерный интерес к психологии индивидуума вышли из моды и нередко осуждались как «мещанство». Такие художники-авангардисты, как поэт Владимир Маяковский и театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, рассматривали революционное искусство и революционную политику в качестве отдельных аспектов одного и того же протеста против старого буржуазного мира. Они входили в число тех представителей интеллигенции, которые первыми признали Октябрьскую революцию и предложили свои услуги новому советскому правительству, рисуя пропагандистские плакаты в кубистическом и футуристическом стиле, исписывая революционными лозунгами стены бывших дворцов, ставя массовые уличные спектакли, воспроизводящие революционные победы, привнося в традиционный театр акробатические трюки и политически значимую тематику и ваяя абстрактные памятники революционным героям прошлого. Если бы это зависело от авангардных художников, то традиционное буржуазное искусство было бы ликвидировано еще быстрее, чем буржуазные политические партии. Однако вожди большевиков были не вполне убеждены в том, что художественный футуризм и большевизм — естественные союзники, неотделимые друг от друга, и занимали по отношению к классике более осторожную позицию.

Этос революционного освобождения встречал большее понимание у большевиков (или по крайней мере у большевистских интеллектуалов), когда дело касалось женщины и семьи. Как и большинство представителей русской радикальной интеллигенции еще с 1860-х гг., большевики поддерживали женскую эмансипацию. Подобно Фрид-

риху Энгельсу, писавшему, что в современной семье муж — «буржуа», а жена — «пролетарий», они считали женщин эксплуатируемой группой. К концу Гражданской войны были приняты законы, существенно облегчавшие развод, ликвидировавшие формальное клеймо незаконнорожденности, разрешавшие аборт и гарантировавшие женщинам равноправие и равную оплату их труда.

Хотя о ликвидации семьи говорили лишь самые радикальные большевистские мыслители, всеобщее распространение получила идея о том, что женщины и дети являются потенциальными жертвами угнетения в рамках семьи и что семье свойственно насаждать буржуазные ценности. Большевистская партия создавала специальные «женские отделы» (женотделы), чтобы спланировать и просвещать женщин, защищать их интересы и помогать им играть независимую роль. Свои собственные организации имелись и у молодых коммунистов — комсомол для подростков и юношества и пионерская организация (созданная несколькими годами позже) для детей в возрасте от 10 до 14 лет, — призывавшие своих членов отслеживать буржуазные тенденции в семье и школе и стараться перевоспитывать тех родителей и учителей, которые с ностальгией вспоминали старые дни, неприязненно относились к большевикам и революции или цеплялись за «религиозные суеверия». Если один из лозунгов, якобы провозглашенный в годы Гражданской войны — «Долой капиталистическую тиранию родителей!», казался более старым большевикам несколько чрезмерным, то дух юношеского бунтарства в первые годы революции в целом ценился и уважался в партии.

Однако сексуальное освобождение, за которое выступали молодые коммунисты, вызывало

некоторое смущение у большевистского руководства. Из-за позиции партии по вопросу об абортах и разводах многие считали, что большевики выступают за «свободную любовь», то есть за сексуальную распущенность. Ленин, безусловно, был против этого: его поколение осуждало филистерскую мораль буржуазии, но стояло за товарищеские отношения между полами и полагало, что половая распущенность свидетельствует о легкомысленности характера. Даже Александра Коллонтай, из всех вождей большевиков больше всего писавшая о вопросах пола и в какой-то степени относившаяся к феминисткам, верила скорее в любовь, а не в часто приписываемую ей теорию секса как «стакана воды».

Тем не менее такое отношение к сексу было популярно среди молодых коммунистов, особенно среди мужчин, усвоивших свою идеологию в Красной армии и относившихся к случайному сексу едва ли не как к коммунистическому обряду инициации. Их настроения отражали общее ослабление морали, свойственное военным и послевоенным временам и носившее в России еще более ярко выраженный характер, чем в других европейских странах. Старым коммунистам приходилось с этим мириться — они считали секс частным делом и, в конце концов, были революционерами, а не буржуазными филистерами, — как им приходилось мириться с кубистами, эсперантистами и нудистами, которые в порядке пропаганды своих идей иногда разъезжали голыми в переполненных московских трамваях. Но коммунистам казалось, что подобные вещи лишают революцию ее торжественной серьезности.

Большевики во власти

Большевикам, взявшим власть, пришлось учиться искусству управления. Едва ли у кого-либо из них имелся административный опыт: по роду своих прежних занятий большинство из них были профессиональными революционерами, рабочими или свободными журналистами (сам Ленин называл себя «литератором»). Они презирали бюрократию и почти ничего не знали о том, как она работает. Они отличались невежеством в вопросах бюджета. Как писал о своем сотруднике по финансовым вопросам Анатолий Луначарский, руководивший Народным комиссариатом просвещения,

[он] всегда приносил на своем лице печать глубочайшего изумления, когда привозил нам деньги из банка. Ему все еще казалось, что революция и организация новой власти — какая-то феерия и что под феерию настоящих денег получить невозможно²¹.

Во время Гражданской войны большинство талантливых организаторов из числа большевиков оказалось в Красной армии, Наркомате продовольствия и ЧК. Способных организаторов из местных партийных комитетов и советов непрерывно мобилизовали в Красную армию или отправляли устранять проблемы туда, где в этом была нужда. Прежние центральные министерства (превратившиеся в наркоматы) управлялись небольшой группой большевиков, преимущественно интеллектуалов, а их штат составляли в основном ка-

21. А.В. Луначарский, «Как мы заняли Министерство Народного Просвещения», в А. В. Луначарский, *Воспоминания и впечатления* (Москва, 1968), 183.

дры, прежде работавшие на царское и Временное правительства. Полномочия в центре были запутанным образом поделены между правительством (Советом народных комиссаров), Центральным исполнительным комитетом Советов и Центральным комитетом большевистской партии с ее секретариатом, Оргбюро, заведовавшим организационными вопросами, и Политбюро, решавшим политические вопросы.

Большевики называли свою власть «диктатурой пролетариата»: на деле же эта концепция имела много общего с диктатурой большевистской партии. С самого начала было ясно, что при такой системе в стране практически нет места для других политических партий: те из них, которые не были запрещены за поддержку белых или (в случае левых эсеров) за организацию восстаний, во время Гражданской войны притеснялись и запугивались путем арестов и в начале 1920-х гг. вынуждены были самораспуститься. Но намного меньше ясности было по вопросу о том, что эта диктатура означает с точки зрения формы управления. Первоначально большевики не видели в своей партийной организации потенциального орудия власти. Судя по всему, они полагали, что партийная организация будет существовать независимо от правительства и не станет выполнять административных функций, так же, как произошло бы в том случае, если бы большевики стали правящей партией в условиях многопартийной политической системы.

Кроме того, большевики называли свое правление «советской властью». Но такое описание никогда не было особенно точным — во-первых, потому что Октябрьская революция по сути была переворотом, за которым стояла партия, а не советы, а во-вторых, потому что новое централь-

ное правительство (назначенное большевистским ЦК) не имело никакого отношения к советам. Новое правительство отобрало контроль над бюрократическим аппаратом различных министерств у Временного правительства, в свою очередь, унаследовавшего его от царского Совета министров. Тем не менее советы играли определенную роль на местном уровне, где старая административная система полностью развалилась. Они (или, точнее, их исполнительные комитеты) стали местными органами центрального управления, обзаводясь своими собственными бюрократическими органами — отделами финансов, просвещения, сельского хозяйства и т. д. Эта административная функция наделяла смыслом существование советов, даже после того, как выборы в них превратились немногим более чем в формальность.

Поначалу центральное правительство (Совет народных комиссаров) производило впечатление ядра новой политической системы. Однако к концу Гражданской войны уже были заметны признаки того, что ЦК большевистской партии и Политбюро движутся к узурпации правительственных полномочий, в то время как на местном уровне партийные комитеты начинали подчинять себе советы. Это главенство партии над государственными органами стало постоянной чертой советской системы. Тем не менее иногда утверждают, что Ленин (серьезно заболевший в 1921 г. и умерший в 1924 г.) оказывал бы сопротивление подобным тенденциям, если бы болезнь не вынудила его уйти с политической сцены, и что согласно его замыслам основную роль должно было играть правительство, а не партия²².

22. Т. Н. Rigby, *Lenin's Government. Sovnarkom, 1917–1922* (Cambrid-

Несомненно, для революционера и для создателя революционной партии Ленин придерживался до странности консервативных взглядов в отношении институтов. Он желал реального правительства, а не какой-то импровизированной директории, так же, как желал реальной армии, реальных законов, а в конечном счете, может быть, и реальной Российской империи. Однако не следует забывать, что члены этого правительства по сути всегда назначались большевистским ЦК и его Политбюро. Ленин возглавлял правительство, но он же де-факто был главой ЦК и Политбюро, и именно эти партийные органы, а не правительство, в годы Гражданской войны выносили решения по важнейшим военным и внешнеполитическим вопросам. Вероятно, с точки зрения Ленина, большим преимуществом правительства при этой системе было то, что в его бюрократических органах работало много технических специалистов (экспертов по финансам, строительству, праву, общественному здравоохранению и т. д.), чьи знания Ленин считал необходимым использовать. В большевистской партии возник свой собственный бюрократический аппарат, но в нем не служили люди со стороны, не являвшиеся членами партии. В партии, и особенно среди ее членов из числа рабочих, было распространено подозрительное отношение к «буржуазным специалистам». Это стало более чем ясно уже в 1918–1919 гг., когда многие большевики активно выступали против использования в армии профессиональных военных (бывших царских офицеров).

ге, 1979). См. также свежую работу о Ленине во главе государства, основанную на архивных источниках: Роберт Сервис, *Ленин. Биография* (Москва, 2002), гл. 15–25.

Природу политической системы, сложившейся после того, как большевики взяли власть, следует объяснять не только с точки зрения институциональной организации, но и с точки зрения природы большевистской партии. Это была партия с авторитарными тенденциями, во главе которой неизменно стоял сильный лидер — даже диктатор, согласно противникам Ленина. Во главу угла всегда ставились партийная дисциплина и единство. До 1917 г. большевики, не согласные с Лениным по каким-либо важным вопросам, как правило, покидали партию. В 1917–1920 гг. Ленину приходилось иметь дело с разногласиями и даже организационными диссидентскими фракциями в рядах партии, но он, судя по всему, рассматривал это как ненормальную и неприятную ситуацию и в итоге предпринял решительные шаги с тем, чтобы изменить ее (см. ниже, с. 184–185). Что касается сторонней оппозиции или критики, то большевики не терпели ее ни до, ни после революции. Как много лет спустя с восхищением отмечал Вячеслав Молотов, младший товарищ Ленина и Сталина, в начале 1920-х гг. Ленин был еще более жестким человеком, чем Сталин, и «никакую оппозицию терпеть не стал бы, если б была такая возможность»²³.

Другая ключевая черта большевистской партии заключалась в том, что это была партия рабочего класса — с точки зрения того, как она виделась себе самой и какая часть общества ее поддерживала, и в значительной степени с точки зрения происхождения ее членов. Согласно народной партийной мудрости, большевики из числа рабочих были людьми «твердыми», а из числа интеллигенции —

23. Феликс Чуев, *Сто сорок бесед с Молотовым* (Москва, 1991), 184.

в большинстве своем «мягкими». Вероятно, в этом есть зерно правды, хотя заметными исключениями из этого правила были такие интеллигенты, как Ленин и Троцкий. Присущие партии авторитарность, антилиберализм, жесткость и репрессивные наклонности вполне могли усиливаться благодаря наплыву новых коммунистов из числа рабочих и крестьян в 1917 г. и в годы Гражданской войны.

Политическое мышление большевиков вращалось вокруг классового вопроса. Они полагали, что общество разделено на антагонистические классы, что политическая борьба является отражением социальной борьбы и что члены городского пролетариата и других прежде эксплуатировавшихся классов — естественные союзники революции. В том же духе члены прежних привилегированных и эксплуататорских классов рассматривались большевиками в качестве естественных врагов²⁴. Хотя верность большевиков пролетариату представляла собой важную часть их эмоционального портрета, их ненависть и подозрительность по отношению к «классовым врагам» — бывшим дворянам, представителям капиталистической буржуазии, кулакам (зажиточным крестьянам) и прочим — была не менее глубока и в долгосрочном плане, возможно, имела еще большее значение. С точки зрения

24. Несмотря на то, что первоначальная гипотеза большевиков о самоочевидности классовой принадлежности индивидуума быстро доказала свою ложность, в течение 10–15 лет они упорствовали в своих попытках делить население на социальные классы, игнорируя практические и концептуальные затруднения, присущие такому подходу. См. об этих затруднениях: Шейла Фицпатрик, *Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века* (Москва, 2011), гл. 2–4; а также (о казаках как «классовых врагах» на Дону): Holquist, *Making War*, особ. pp. 150–97.

большевиков, старые привилегированные классы были не только по определению контрреволюционными; контрреволюционным заговором являлся сам факт их существования. Этот внутренний заговор был тем более опасным, поскольку, как продемонстрировали и теория, и опыт зарубежной интервенции и Гражданской войны, за ним стояли силы международного капитализма.

По мнению большевиков, для того чтобы закрепить победу пролетариата в России, необходимо было не только ликвидировать прежнюю структуру классовой эксплуатации, но и обратить ее в свою противоположность. Например, этого можно было добиться при помощи принципов «классовой юстиции»:

В лице старого суда классовое меньшинство эксплуататоров судило трудящееся большинство. Суд пролетарской диктатуры есть суд трудящегося большинства над эксплуататорским меньшинством. Он так и построен. Судьи выбираются только трудящимися. Судьи выбираются только из числа трудящихся. За эксплуататорами оставляется лишь право быть судимыми²⁵.

Эти принципы, очевидно, не были эгалитарными. Но большевики и не претендовали на эгалитаризм в период революции и перехода к социализму. С большевистской точки зрения невозможно было считать всех граждан равноправными, если среди них находились классовые противники режима. Так, согласно Конституции РСФСР 1918 г., право голоса получали все «трудящиеся» (вне зависимости от пола и национальности), но его были лишены члены эксплуататорских классов и прочие явные враги советской власти — наниматели, люди, живу-

25. Бухарин и Преображенский, *Азбука коммунизма*, 272.

щие на незаработанный доход или за счет ренты, кулаки, священники, бывшие жандармы и некоторые другие царские служащие, а также офицеры белых армий.

Даже если вопрос «Кто находится у власти?» может иметь несколько абстрактный характер, он имеет и конкретный смысл: «Кто именно работает на власть?». Политическая власть перешла из одних рук в другие, и (как считали большевики, в качестве временной меры) на замену старым кадрам следовало найти новые. С учетом большевистского склада ума, одним из критериев в ходе этого отбора неизбежно становилась классовая принадлежность. Некоторые интеллектуалы из числа большевиков, включая Ленина, могли указывать, что образование было не менее важно, чем классовая принадлежность, в то время как некоторых других беспокоило то, что рабочие, надолго отрываемые от производства, утрачивают свою пролетарскую идентичность. Но в партии в целом существовал твердый консенсус в отношении того, что новый режим может доверить власть одним лишь пролетариям, являвшимся жертвами эксплуатации при старом режиме²⁶.

К концу Гражданской войны десятки тысяч рабочих, солдат и матросов — поначалу это были большевики и те, кто сражался на их стороне в 1917 г., а впоследствии и те, кто отличился в Красной армии или в фабрично-заводских комитетах, молодые и сравнительно образованные люди или просто те, кто выказал амбиции к карьерному росту, — стали «кадрами», то есть лицами, занимающими ответственные (как правило, администра-

26. См.: Sheila Fitzpatrick, *Education and Mobility in the Soviet Union, 1921-1934* (Cambridge, 1979), ch. 1.

тивные) должности. (В состав «кадров» вошли и многие сторонники большевиков, не имевшие пролетарского происхождения, включая евреев, для которых революция означала освобождение от ограничений царского времени и новые возможности²⁷.) «Кадры» занимали командные должности в Красной армии, служили в ЧК, в продовольственных управлениях, в партийном и советском бюрократическом аппарате. Многие назначались директорами заводов, обычно после работы в местном фабрично-заводском комитете или профсоюзе. В 1920–1921 гг. партийные вожди не до конца понимали, удастся ли продолжить этот процесс «выдвижения пролетарских кадров» в больших масштабах, а если да, то каким образом, поскольку первоначальные ресурсы рабочих-партийцев сильно истощились, а разруха в промышленности и нехватка продовольствия в городах за годы Гражданской войны привели к распылению и деморализации промышленного пролетариата, существовавшего в 1917 г. Тем не менее большевики на опыте выяснили, к чему сводится «диктатура пролетариата». Это была не коллективная классовая диктатура рабочих, остававшихся на своих старых местах в заводских цехах. Это была диктатура, осуществлявшаяся профессиональными «кадрами», по возможности набиравшимися из числа пролетариев.

27. О евреях и революции см.: Юрий Слезкин, *Эра Меркурия. Евреи в современном мире* (Москва, 2007), гл. 3–4.

Нэп и будущее революции

ПОБЕДА большевиков в Гражданской войне поставила их лицом к лицу с внутренними проблемами страны, охваченной административным хаосом и экономической разрухой. Города голодали и наполовину опустели. Катастрофически упала добыча угля, железные дороги едва функционировали, промышленное производство почти остановилось. Крестьяне бунтовали, протестуя против реквизиций продовольствия. Посевы сократились, а два подряд года засухи поставили Поволжье и другие аграрные регионы на грань вымирания. Число смертей от голода и эпидемий в 1921–1922 гг. превышало общие потери страны в Первой мировой и Гражданской войнах. За годы революции и войны из России эмигрировало около двух миллионов человек, почти лишив страну образованной элиты. Позитивным демографическим явлением была миграция из-за черты оседлости сотен тысяч евреев, многие из которых осели в столицах¹.

В рядах Красной армии насчитывалось более пяти миллионов человек, а окончание Гражданской войны означало, что большинство из них под-

1. В 1912–1926 гг. численность евреев в Москве и Ленинграде выросла более чем в четыре раза; аналогичный прирост еврейского населения наблюдался также в украинских столицах — Киеве и Харькове. См.: Slezkine, *Jewish Century*, 216–18.

лежало демобилизации. Это мероприятие оказалось намного более сложным, чем предполагали большевики: оно требовало демонтажа многого из того, что новому режиму удалось построить после Октябрьской революции. Красная армия служила стеновым хребтом большевистской администрации в годы Гражданской войны и экономики военного коммунизма. Более того, солдаты-красноармейцы представляли собой самый большой отряд «пролетариата» в стране. Большевики сами избрали пролетариат в качестве источника своей социальной поддержки и после 1917 г. в практическом смысле понимали под пролетариатом всех рабочих, солдат, матросов и бедных крестьян в России. Теперь же значительная часть группы, которую образовывали солдаты и матросы, должна была исчезнуть; более того, демобилизованные солдаты — безработные, голодные, вооруженные, из-за разрухи на транспорте нередко застрявшие далеко от родных мест, — становились источником волнений. После демобилизации двух с лишним миллионов человек, произошедшей в первые месяцы 1921 г., большевики обнаружили, что бойцы за революцию способны в одночасье превратиться в бандитов.

Не меньшую тревогу вызывала и участь основного ядра пролетариата — промышленных рабочих. Закрыв предприятия, призыв в армию, назначения на административные должности и, в первую очередь, бегство из городов, вызванное голодом, сократили число промышленных рабочих с 3,6 млн в 1917 г. до 1,5 млн в 1920 г. Значительная доля этих рабочих вернулась в села, где у них еще оставались родственники, и получила земельные наделы в качестве членов сельских общин. Большевики не знали, сколько рабочих оказалось в деревне и долго ли они еще там пробудут. Вполне могло быть

так, что они влились в ряды крестьянства и никогда уже больше не вернулись бы в города. Но, независимо от долгосрочных перспектив, текущая ситуация была ясна: класс, которому принадлежала «диктаторская власть» в России, сократился более чем наполовину².

Первоначально большевики рассчитывали на то, что русская революция будет поддержана европейским пролетариатом, который, казалось, к концу Первой мировой войны находился на грани революции. Но послевоенная революционная волна в Европе улеглась, и советский режим оказался в ситуации, когда в Европе не было стран, которые он мог бы считать своими постоянными союзниками. Ленин сделал вывод о том, что отсутствие заграничной поддержки ставит перед большевиками необходимость получить поддержку со стороны российского крестьянства. Однако реквизиции продовольствия и крах рынка при военном коммунизме оттолкнули крестьян, и в некоторых регионах они открыто бунтовали. На Украине с большевиками сражалась крестьянская армия во главе с Нестором Махно. На Тамбовщине — важном сельскохозяйственном регионе в Центральной России — для подавления крестьянского восстания пришлось использовать красноармейские отряды численностью в 50 тыс. человек³.

2. Об исчезновении рабочего класса см.: D. Koenker, «Urbanization and Deurbanization in the Russian Revolution and Civil War», in D. Koenker, W. Rosenberg, and R. Suny (eds.), *Party, State, and Society in the Russian Civil War* (Bloomington, Ind., 1989); Sheila Fitzpatrick, «The Bolsheviks» Dilemma: The Class Issue in Party Politics and Culture, in Sheila Fitzpatrick, *The Cultural Front* (Ithaca, NY, 1992).

3. Oliver H. Radkey, *The Unknown Civil War in Soviet Russia* (Stanford, Calif., 1976), 263.

Самым серьезным испытанием для нового режима стал март 1921 г., когда после волны пролетарских забастовок в Петрограде подняли мятеж моряки на соседней военно-морской базе в Кронштадте⁴. Кронштадтцы, герои «июльских дней» 1917 г., а впоследствии поддерживавшие большевиков во время Октябрьской революции, стали почти легендарными фигурами в большевистской мифологии. И вот теперь они отвергли большевистскую революцию, осуждая «произвол комиссаров» и призывая к созданию подлинной советской республики рабочих и крестьян. Кронштадтский мятеж произошел во время X съезда партии, и ряду делегатов пришлось его срочно покинуть, чтобы вступить в элитные части Красной армии и отряды ЧК, посланные по льду на подавление бунта. Трудно представить более драматическое или более просчитанное событие, способное произвести впечатление на большевиков. Советская печать в своей едва ли не первой серьезной попытке скрыть неприятную правду утверждала, что мятеж был инспирирован эмигрантами и возглавлялся таинственным белым генералом. Но слухи, ходившие среди делегатов X съезда, утверждали иное.

Кронштадтский мятеж выглядел символическим разрывом между рабочим классом и большевистской партией. Это была трагедия — и для тех, кто считал, что рабочие стали предателями, и для тех, кто полагал, что именно партия предала рабочих. Советский режим впервые направил стволы своих пушек на революционный пролетариат. Более того, травма Кронштадта произошла почти одновременно с другой катастрофой. Немецкие

4. См.: Paul A. Avrich, *Kronstadt, 1921* (Princeton, NJ, 1970); Israel Getzler, *Kronstadt, 1917–1921* (Cambridge, 1983).

коммунисты, подстрекаемые из Москвы вождями Коминтерна, подняли революционное восстание, которое завершилось полным провалом. После этого поражения даже наиболее оптимистично настроенные большевики утратили надежду на то, что европейская революция неминуема. Русской революции осталось выживать, рассчитывая только на саму себя.

Кронштадтский и Тамбовский мятежи, за которыми стояло как экономическое, так и политическое недовольство, стали четким сигналом о необходимости введения новой экономической политики вместо прежней политики военного коммунизма. Первый шаг, предпринятый весной 1921 г., заключался в отмене реквизиций сельскохозяйственной продукции у крестьян и введении продовольственного налога. На практике это означало, что государство забирало только фиксированную долю продукции, а не все, до чего оно могло дотянуться (впоследствии, после стабилизации рубля в первой половине 1920-х гг., натуральный продналог был заменен более традиционным денежным налогом).

Поскольку предполагалось, что после уплаты продналога у крестьян останутся излишки для продажи на рынке, следующим логическим шагом было разрешение частной торговли и попытка ликвидировать процветающий черный рынок. Весной 1921 г. Ленин по-прежнему решительно выступал против легализации торговли, считая это отказом от коммунистических принципов, но в дальнейшем спонтанное возрождение частной торговли (нередко санкционированное местными властями) поставило большевистское руководство перед свершившимся фактом, который оно было вынуждено признать. Эти шаги стали

началом Новой экономической политики, известной под аббревиатурой нэп⁵. Она представляла собой импровизированный ответ на отчаянную экономическую ситуацию, первоначально принятый практически без каких-либо дискуссий и дебатов (и практически в отсутствие открытого несогласия) в партии и ее руководстве. Положительное воздействие этих мер на экономику было стремительным и громадным.

Затем настал черед и других экономических изменений, в целом представлявших собой полную ликвидацию системы, в ретроспективе получившей название «военный коммунизм». В промышленности был отменен курс на полную национализацию и с разрешения властей вновь образовался частный сектор, хотя государство сохранило контроль над «командными высотами» экономики, включая крупную промышленность и банки. Зарубежных инвесторов приглашали брать концессии в промышленности и горнорудной отрасли, а также в строительстве. Наркомат финансов и Госбанк стали прислушиваться к советам старых «буржуазных» финансовых экспертов, стремясь к стабилизации валюты и к ограничению государственных расходов. Бюджет центрального правительства был резко сокращен и предпринимались попытки увеличить доходную его часть при помощи налогов. Отныне индивидуальным пользователям приходилось платить за такие прежде бесплатные услуги, как школьное обучение и медицинская помощь; пенсии и пособия по болезни и безработице выплачивались лишь тем, кто делал взносы в соответствующие фонды.

5. О нэпе см.: Lewis H. Siegelbaum, *Soviet State and Society between Revolutions, 1918–1929* (Cambridge, 1992).

С коммунистической точки зрения нэп представлял собой отступление и частичное признание неудачи. Многие коммунисты ощущали глубокое разочарование: казалось, что революция почти ничего не изменила. Москва, столица советского государства с 1918 г. и штаб-квартира Коминтерна, в первые годы нэпа вновь стала оживленным городом, хотя на взгляд стороннего наблюдателя это по-прежнему была Москва 1913 г., с крестьянками, торгующими картошкой на рынках, колокольным звоном и бородатыми попами, созывающими православных на молитву, с проститутками, нищими и карманниками, орудующими на улицах и вокзалах, с цыганскими песнями в кабаках, швейцарами в ливреях, снимающими фуражки перед важными клиентами, и театралками в мехах и шелковых чулках. В этой Москве коммунисты в кожаных куртках выглядели угрюмыми чужаками, а ветераны-красноармейцы по большей части стояли в очередях на биржах труда. Революционные вожди, не по чину селившиеся в Кремле и в гранд-отелях, смотрели в будущее с мрачными предчувствиями.

Дисциплина отступления

По утверждению Ленина, стратегическое отступление в лице нэпа было навязано большевикам отчаянным экономическим положением и необходимостью закрепить уже состоявшиеся победы революции. Цель нэпа заключалась в том, чтобы восстановить разрушенную экономику и развеять опасения непролетарского населения. Нэп означал уступки крестьянству, интеллигенции и городской мелкой буржуазии, ослабление контроля над

экономической, социальной и культурной жизнью и замену принуждения примирением в отношениях между коммунистами и обществом в целом. Но в то же время Ленин очень ясно дал понять, что послабления не должны распространяться на политическую сферу. В рамках Коммунистической партии «необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малейшее нарушение дисциплины»:

Когда армия отступает, то тут нужна дисциплина во сто раз большая, чем при наступлении, потому что при наступлении все рвутся вперед. А если теперь все начнут рваться назад, то это гибель, неизбежная и немедленная... когда происходит такое отступление с настоящей армией, ставят пулеметы и тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют: «Стреляй!». И правильно.

Что же касается других партий, то следовало еще более строго ограничить их свободу публично выражать свои взгляды, чем во время Гражданской войны, особенно в том случае, если бы они попытались объявить новую умеренную позицию большевиков своей собственной:

Когда меньшевик говорит: «Вы теперь отступаете, а я всегда был за отступление, я с вами согласен, я ваш человек, давайте отступаем вместе», — то мы ему на это говорим: «За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое»⁶.

Провозглашение нэпа сопровождалось арестом пары тысяч меньшевиков, включая всех членов меньшевистского Центрального комитета. В 1922 г.

6. В.И. Ленин «Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) XI съезду РКП(б), 27 марта 1922 г.», в В. И. Ленин, *Полное собрание сочинений*. Т. 45.

был проведен публичный процесс над группой правых эсеров, обвинявшихся в преступлениях против государства: некоторым были вынесены смертные приговоры, хотя они, судя по всему, не были приведены в исполнение. В 1922–1923 гг. из Советской республики были насильственно выдворены несколько сотен видных кадетов и меньшевиков. Начиная с этого времени в стране были фактически запрещены все политические партии, кроме правящей Коммунистической партии (как теперь стала называться большевистская партия).

Готовность Ленина к подавлению всякой реальной или потенциальной оппозиции была самым ошеломляющим образом продемонстрирована в секретном письме в Политбюро от 19 марта 1922 г., в котором Ленин требовал от своих коллег воспользоваться возможностью, предоставленной голодом, чтобы покончить с авторитетом Православной церкви: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией». По мнению Ленина, в Шуе, где кампания по изъятию церковных ценностей в рамках борьбы с голодом спровоцировала бурные демонстрации, следовало арестовать и предать суду большое число местных представителей буржуазии и духовенства. И этот суд должен завершиться

не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров... Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо имен-

но теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать⁷.

В то же время на повестку дня был вновь поставлен вопрос и о дисциплине *в самой* Коммунистической партии. Большевики, разумеется, всегда делали сильный теоретический упор на партийной дисциплине, начало чему было положено еще брошюрой Ленина 1902 г. «Что делать?» Все большевики признавали принцип демократического централизма, означавший, что члены партии вправе свободно обсуждать все вопросы, пока по ним не вынесено политическое решение, но обязаны выполнять его после того, как оно будет окончательно принято на съезде партии или в ЦК. Но принцип демократического централизма сам по себе не определял партийных правил относительно внутренних дискуссий — в каком объеме те приемлемы, насколько резко можно критиковать вождей партии, могут ли критики создавать «фракции» или группы давления по конкретным вопросам, и т. д.

До 1917 г. внутрипартийные дебаты на практике ограничивались спорами внутри эмигрантского сообщества большевиков-интеллектуалов. Вследствие главенствующей роли Ленина эмигранты-большевики представляли собой более сплоченную и однородную группу, чем их оппоненты из числа меньшевиков и эсеров, которые в большинстве своем были раздроблены на множество мелких кружков со своими собственными вождями и политической идентичностью. Ленин решительно выступал против подобных тенденций в среде большевиков.

7. В.И. Ленин, «Письмо В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б), 19 марта 1922 г.», в В. И. Ленин, *Неизвестные документы. 1891–1922 гг.* (Москва, 1999), 516–519.

Когда среди эмигрантов, покинувших Россию после революции 1905 года, вокруг еще одного харизматичного большевика, Александра Богданова, начала складываться группа его приверженцев, разделявших его философские и культурные взгляды, Ленин вынудил Богданова и его группу выйти из большевистской партии, хотя эту группу нельзя было назвать политической фракцией или внутрипартийной оппозицией.

Ситуация радикально изменилась после Февральской революции, вследствие слияния эмигрантов и подпольщиков в более крупную и разнородную группу партийных вождей и резкого роста численности партии. В 1917 г. большевики были сильнее озабочены тем, как оседлать волну массовой революции, нежели вопросом партийной дисциплины. Многие отдельные члены партии и входившие в ее состав группы расходились с Лениным по важным политическим вопросам и до, и после Октября, и Ленину не всегда удавалось навязать свою точку зрения. Некоторые группы перерождались в полупостоянные фракции даже после того, как их платформа оказывалась отвергнута большинством в ЦК или на партийном съезде. Фракции, остававшиеся в меньшинстве (они состояли главным образом из интеллектуалов из числа старых большевиков), обычно не выходили из партии, как было принято до 1917 г. Их партия пришла к власти в государстве, фактически являвшемся однопартийным, и потому выйти из партии означало полностью отказаться от политической жизни.

Однако несмотря на эти изменения, старые теоретические положения Ленина о партийной дисциплине и организации к концу Гражданской войны по-прежнему оставались частью большевистской идеологии, о чем свидетельствует то,

как большевики управляли Коминтерном — новой международной коммунистической организацией, базировавшейся в Москве. В 1920 г., когда на II съезде Коминтерна обсуждался вопрос об условиях вступления в Коминтерн, вожди большевиков настаивали на требованиях, явно основывавшихся на модели большевистской партии в России до 1917 г., хотя это означало исключение из Коминтерна крупной и популярной Итальянской социалистической партии, которая хотела вступить в Коминтерн, не избавившись от своего правого крыла и центристов, и ослабление Коминтерна как конкурента возрожденного европейского Социалистического Интернационала. Принятый Коминтерном документ с перечнем из «21 условия» приема в него по сути требовал от партий-кандидатов, чтобы те были ультралевыми меньшинствами, состоящими только из крайне убежденных революционеров, и предпочтительно были созданы путем раскола (аналогичного расколу между большевиками и меньшевиками в 1903 г.), представляющего собой демонстративное отмежевание левых партийцев от «реформаторского» центра и правого крыла. Важнейшими качествами любой коммунистической партии, действующей во враждебном окружении, объявлялись единство, дисциплина, неуклонность и революционный профессионализм.

Разумеется, эти требования не обязательно относились к самим большевикам, поскольку те уже взяли власть. Правящая партия в однопартийном государстве должна была, во-первых, стать массовой партией, а во-вторых, примириться с существованием разных мнений и даже институционализировать его. По сути, именно это происходило в большевистской партии после 1917 г. В руководстве партии возникали фракции по отдельным политическим

вопросам, во многих случаях (тем самым нарушая принцип демократического централизма) продолжавшие существовать даже после поражения при окончательном голосовании. К 1920 г. фракции, участвовавшие в текущих дискуссиях о статусе профсоюзов, превратились в сплоченные группы, не только выдвигавшие альтернативные политические платформы, но и обращавшиеся в поисках поддержки в местные партийные комитеты в ходе дискуссий, предшествовавших X съезду партии, и выборов делегатов на съезд. Иными словами, внутри большевистской партии зарождался своеобразный вариант «парламентской» политики: фракции при этом играли роль политических партий в многопартийной системе.

С точки зрения позднейших западных историков — и вообще всякого стороннего наблюдателя, разделяющего социал-демократические ценности, — это была, безусловно, похвальная тенденция и перемена к лучшему. Но большевики не были либеральными демократами, и в их рядах наблюдалось серьезное беспокойство по поводу того, что партия разваливается на части, утрачивая прежнее единство целей и стремление к их достижению. Ленин, несомненно, не одобрял новый стиль партийной политики. Во-первых, дискуссия о профсоюзах — носившая вполне второстепенный характер по сравнению с злободневными и неотложными проблемами, вставшими перед большевиками после Гражданской войны, — отнимала у вождей партии колоссальное количество времени и сил. Во-вторых, существование фракций косвенно бросало вызов единоличному лидерству Ленина в партии. Одну из фракций во время дискуссии о профсоюзах возглавлял Троцкий, виднейший член партии после Ленина, несмотря

на свой относительно короткий большевистский стаж. Во главе другой фракции, «Рабочей оппозиции», стоял Александр Шляпников, претендовавший на особые отношения с членами партии из числа рабочих, что потенциально представляло серьезную угрозу для старого руководящего ядра во главе с Лениным, состоявшего из эмигрантов-интеллектуалов.

Поэтому Ленин поставил своей целью уничтожить фракции и фракционность в рамках большевистской партии. Для этого он прибег к тактике, носившей не только фракционный, но и откровенно конспиративный характер. И Молотов, и Анастас Микоян, молодой армянин, входивший в ленинскую группу, оставили описание той энергии и решимости, с которой Ленин на X съезде партии в начале 1921 г. осуществил эту операцию, проводя секретные совещания со своими сторонниками, раскалывая крупные делегации из провинций, идущие за оппозиционными фракциями, и составляя списки оппозиционеров, которых следовало забаллотировать на выборах Центрального комитета. Ленин даже хотел привести «одного старого товарища, коммуниста-подпольщика, у которого есть шрифт и есть ручной станок», чтобы тот печатал листовки для их тайного распространения, но Сталин воспротивился этому предложению на том основании, что оно могло быть расценено как фракционность⁸. (Это был не единственный случай, когда Ленин в первые годы существования советского государства обращался к подпольным практикам прежних лет. По воспоминаниям Молотова, в мрачный момент Гражданской вой-

8. А.И. Микоян, *Мысли и воспоминания о Ленине* (Москва, 1970), 139.

ны Ленин созвал вождей и объявил им о неминуемом падении советского режима. Для всех были подготовлены фальшивые удостоверения личности и тайные явки: «Партия уходит в подполье»⁹).

На X съезде Ленин одержал верх над фракцией Троцкого и «Рабочей оппозицией», обеспечив преобладание своих сторонников в новом ЦК и заменив двух троцкистов в секретариате ЦК ленинцем Молотовым. Но этим дело отнюдь не ограничивалось. Группа Ленина, ошеломив вождей оппозиционных фракций, предложила одобренную съездом резолюцию «О единстве партии», предписывавшую роспуск всех существующих фракций и в дальнейшем запрещавшую какую-либо фракционную деятельность в рамках партии.

Ленин называл запрет на создание фракций временной мерой. Вполне возможно, что он говорил искренне, но скорее всего, он просто оставлял себе пространство для маневра на тот случай, если запрет не будет поддержан партией. В итоге этого не случилось: партия в целом как будто бы была вполне готова пожертвовать фракциями в интересах единства — возможно, потому, что фракционность не пустила глубоких корней среди рядовых партийцев и рассматривалась многими из них как прерогатива интеллектуальных фрондеров.

Резолюция «О единстве партии» содержала секретное положение, позволявшее партии исключать из своих рядов неисправимых фракционеров, а Центральному комитету — изгонять избранных в его состав членов, уличенных в фракционности. Но это положение вызывало серьезные возражения в Политбюро и при жизни Ленина ни разу не применялось формально. Однако осенью 1921 г.

9. Чуев, *Сто сорок бесед с Молотовым*, 176.

по инициативе Ленина была проведена крупномасштабная партийная чистка. Для того чтобы сохранить членство в партии, каждый коммунист должен был предстать перед специальной комиссией, предъявить свои заслуги перед революцией и при необходимости ответить на критику в свой адрес. В качестве главных задач партийной чистки 1921 г. называлось избавление партии от «карьеристов» и «классовых врагов»; формально чистка не была направлена против сторонников побежденных фракций. Тем не менее Ленин подчеркивал, что «следует избавиться» (то есть исключить из партии) от «всех членов РКП(б), хотя бы в малейшей степени подозрительных или ненадежных»; как отмечает Т. Г. Ригби, трудно себе представить, чтобы среди почти 25% членов партии, сочтенных недостойными, не было оппозиционеров¹⁰.

И хотя в ходе чистки из партии не было изгнано ни одного видного оппозиционера, не все члены оппозиционных фракций 1920–1921 гг. избежали кары. Назначения и распределение партийных кадров находились в ведении секретариата ЦК, во главе которого теперь стоял один из людей Ленина; по воле секретариата ряд известных членов «Рабочей оппозиции» получил назначения в удаленные от Москвы места, в силу чего был фактически отстранен от активного участия в политической борьбе, происходившей в верхушке партии. Практика использования подобных «административных методов» с целью укрепления единства в руководстве партии впоследствии широко использовалась Сталиным после того, как он в 1922 г.

10. Rigby, *Communist Party Membership*, 96–100, 98. Яркое описание чистки 1921 г. на местном уровне см. в романе Ф. Гладкова «Цемент» (гл. 16).

стал генеральным секретарем партии (то есть возглавил секретариат ЦК), и исследователи нередко полагают, что именно тогда и был положен конец внутренней демократии в советской Коммунистической партии. Но начало этой практике было положено Лениным в период разногласий на X съезде партии, когда Ленин все еще оставался непревзойденным стратегом, а Сталин и Молотов были его верными подручными.

Проблема бюрократии

Будучи революционерами, все большевики выступали против «бюрократии». Они с удовольствием стали бы вождями партии или военачальниками, но разве истинный революционер мог допустить, что он окажется бюрократом, чиновником нового режима? Дискуссии большевиков об административных функциях были полны эвфемизмов: коммунистические чиновники назывались «кадрами», а коммунистическая бюрократия — «аппаратом» и «органами советской власти». Слово «бюрократия» почти всегда несло негативный смысл: «бюрократических методов» и «бюрократических решений» следовало избегать любой ценой, а революцию было необходимо защищать от «бюрократического перерождения».

Но все это не должно заслонять тот факт, что большевики создали диктатуру с намерением управлять обществом и переделывать его. Эти задачи не могли быть решены без административной машины, поскольку большевики с самого начала отвергали мысль о том, что общество способно на самоуправление или на спонтанные преобразования. Соответственно, вопрос заключался в том,

какая административная машина требовалась в данном случае? В наследство большевикам достался обширный центральный бюрократический аппарат, лишившийся корней на местах. У большевиков были советы, в 1917 г. частично взявшие на себя функции местного самоуправления. Наконец, у них была сама большевистская партия — структура, чья прежняя функция подготовки и осуществления революции явно оказалась неуместной в ситуации, сложившейся после Октября.

В старом государственном бюрократическом аппарате, перешедшем в распоряжение советской власти, по-прежнему служило много чиновников и специалистов, оставшихся со времен царского режима, и большевики опасались, что те в состоянии подорвать и саботировать их революционную политику. Как писал в 1922 г. Ленин, «побежденный народ» старой России уже начал навязывать свои ценности «завоевателям» — коммунистам:

Если взять Москву — 4700 ответственных коммунистов — и взять эту бюрократическую махину, груды, — кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груды. Если правду говорить, не они ведут, а их ведут... [Культура у старых бюрократов] мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. Как она ни жалка, как ни мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников-коммунистов, потому что у них нет достаточного умения управлять¹¹.

Хотя Ленин видел угрозу того, что коммунистические ценности потонут в болоте старой бюрократии, он считал, что коммунисты должны ра-

11. В.И. Ленин, «Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) XI съезду РКП(б), 27 марта 1922 г.», в В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*. Т. 45.

ботать с ней за отсутствием иной альтернативы. Они нуждались в техническом опыте старой бюрократии — не только в административном опыте, но и в ее специальных знаниях в таких областях, как государственные финансы, управление железными дорогами, меры и веса, или геологоразведка: знаниях, которыми сами коммунисты не обладали. По мнению Ленина, любой член партии, не способный оценить нужду нового режима в «буржуазных специалистах» — включая тех, которые работали чиновниками или консультантами при старом режиме, — был виновен в «коммунистическом самодовольстве», под которым понималась невежественная и ребяческая уверенность в том, что коммунисты способны решить любые проблемы своими силами. Чтобы партия сумела обучить достаточное число специалистов-коммунистов, потребуется много времени. Пока же коммунистам следовало научиться работать с буржуазными специалистами и в то же время держать их под строгим контролем.

Взгляды Ленина в отношении специалистов в целом разделяли и другие вожди партии, но среди рядовых коммунистов они были менее популярны. Большинство коммунистов очень слабо представляло себе, какие специальные знания требуются на высших уровнях управления. Но они четко понимали, к чему может привести на местном уровне ситуация, когда мелким чиновникам старого режима удавалось устроиться на аналогичную должность при совете, или когда главный бухгалтер неприязненно относился к местным коммунистическим активистам на своем предприятии, или даже когда сельским учителем становился верующий человек, создававший проблемы для комсомола или обучавший детей закону божьему.

Большинству коммунистов казалось очевидным, что в том случае, когда нужно сделать что-то важное, лучше всего это делать через партию. Разумеется, центральный партийный аппарат не мог соперничать с колоссальной государственной бюрократией при решении повседневных административных задач — для этого он был слишком мал. Но на местном уровне, где и партийные комитеты, и советы создавались с нуля, положение было иным. После Гражданской войны партийные комитеты начали превращаться в главные местные органы власти, а советы отошли на вторые роли, в чем-то аналогичные роли прежних земств. Политическая линия, насаждавшаяся посредством партийной вертикали власти (от Политбюро, Оргбюро или Центрального комитета к местным партийным комитетам), имела намного больше шансов на проведение в жизнь, чем масса указов и требований, спускавшихся центральным правительством в советы, не склонные к сотрудничеству и нередко пребывавшие в состоянии хаоса. Правительство не имело полномочий по найму и увольнению персонала местных советов и не могло осуществлять над ними эффективный бюджетный контроль. С другой стороны, в партийных комитетах работали коммунисты, которых партийная дисциплина обязывала к выполнению инструкций высших партийных органов. Стоявшие во главе партийных комитетов секретари, формально выбиравшиеся местными партийными организациями, на практике могли быть сняты и заменены секретариатом ЦК партии.

Но существовала одна проблема. Партийный аппарат — иерархическая структура комитетов и кадров (в реальности являвшихся назначенными должностными лицами) во главе с секретариатом ЦК — во всех отношениях представляла собой бю-

рократическую машину; а коммунисты в принципе неприязненно относились к бюрократии. В ходе борьбы за власть, развернувшейся в партии в середине 1920-х гг. (см. ниже, с. 196–199), Троцкий пытался дискредитировать Сталина, генерального секретаря партии, утверждая, что тот построил партийный бюрократический аппарат и манипулирует им в собственных политических целях. Однако эта критика как будто бы произвела слабое впечатление на партию в целом. Во-первых, назначение (а не выборы) партийных секретарей являлось куда менее серьезным отходом от большевистских традиций, чем заявлял Троцкий: в прежние дни, когда партия до 1917 г. работала в подполье, партийные комитеты всегда находились в сильной зависимости от руководивших ими профессиональных революционеров, присылавшихся большевистским центром; и даже после легализации комитетов в 1917 г. они чаще требовали от центра, чтобы тот срочно прислал им «руководящие кадры», нежели настаивали на демократическом праве выбирать местное руководство по своему усмотрению.

Однако в более общем плане представляется, что большинство коммунистов просто не относилось к партийному аппарату как к бюрократической машине в каком-либо уничижительном смысле. В их глазах (как и в глазах Макса Вебера) бюрократия отличалась применением четко определенного корпуса законов и прецедентов, а кроме того, высокой специализацией и почтением к профессиональным знаниям. Но партийный аппарат 1920-х гг. не был специализирован в какой-либо существенной степени и не полагался на специалистов-профессионалов (за исключением сферы безопасности и вооруженных сил). В нем не поощрялось «соблюдение правил»: в первые годы еще не существовало

сборников партийных указов, на которые можно было бы сослаться, а в дальнейшем всякий партийный секретарь, следовавший букве старых инструкций ЦК вместо того, чтобы отзывать на дух текущей партийной линии, рисковал получить выволочку за «бюрократические тенденции».

Коммунисты, заявляя, что им не нужна бюрократия, имели в виду, что они не желали создания административной структуры, которая не стала бы или не смогла бы подчиняться революционным приказам. Но в то же время они остро нуждались в такой административной структуре, которая *стала* бы подчиняться революционным приказам — такой, чьи служащие готовы были бы получать команды от вождей революции и активно проводили бы в жизнь политику радикальных социальных преобразований. Такую революционную функцию партийный аппарат (или партийная бюрократия) мог выполнять, и большинство коммунистов инстинктивно признавало это.

Кроме того, большинство коммунистов полагало, что органы «пролетарской диктатуры» должны носить пролетарский характер, имея под этим в виду, что на ответственные административные должности следует назначать бывших рабочих. Вполне возможно, что не совсем это понимал под пролетарской диктатурой Маркс и не совсем к этому стремился Ленин. (Рабочие «бы хотели дать нам лучший аппарат, — писал Ленин в 1923 г. — Но они не знают, как это сделать. Они не могут этого сделать. Они не выработали в себе до сих пор такого развития, той культуры, которая необходима для этого. А для этого необходима именно культура»¹²). Тем не менее

12. В. И. Ленин, «Лучше меньше, да лучше. 23.03.1923», в В. И. Ленин, *Полное собрание сочинений*. Т. 45.

участники всех партийных дискуссий считали само собой разумеющимся, что политическая надежность партийного аппарата, его революционный пыл и защищенность от «бюрократического перерождения» напрямую связаны с тем, какая доля его кадров имеет пролетарское происхождение. Классовый критерий применялся ко всем бюрократическим структурам, включая и партийный аппарат. Кроме того, он применялся и при приеме в партию новых членов, что не могло не сказаться на будущем составе советской административной элиты.

В 1921 г. промышленный пролетариат пребывал в плачевном состоянии, а во взаимоотношениях между ним и режимом назрел кризис. Однако к 1924 г. экономическое возрождение смягчило некоторые проблемы и рабочий класс начал восстанавливаться и расти в числе. Именно в том году партия подтвердила стремление сохранить свою пролетарскую идентичность, объявив «Ленинский призыв» — кампанию по приему в партию сотен тысяч рабочих. В этом решении косвенно присутствовала готовность продолжать построение «пролетарской диктатуры» путем поощрения перехода рабочих на административные должности.

В 1927 г., после трех лет активного привлечения новых членов из числа рабочих, Коммунистическая партия достигла численности в миллион с лишним полноправных членов и кандидатов, из которых 39% были рабочими, на тот момент занятыми на производстве, а 56% были рабочими на момент вступления в партию¹³. Разница между двумя этими величинами указывает на приблизительный размер группы рабочих-коммунистов, навсегда перешедших на административные и прочие должности,

13. И.Н. Юдин, *Социальная база КПСС* (Москва, 1973), 128.

не связанные с физическим трудом. Для рабочих, вступивших в партию в первое десятилетие советской власти, вероятность последующего перевода на административную работу (даже за вычетом выдвинутых после 1927 г.) составляла не менее 50%.

Работа в партийном аппарате была более привлекательна для коммунистов из числа рабочих, нацеленных на карьеру, чем должности в государственных бюрократических органах — отчасти потому, что рабочие чувствовали себя более уверенно в партийном окружении, а отчасти потому, что недостаток образования имел меньшее значение для местного партийного секретаря, чем, скажем, для начальника отдела в Наркомате финансов. В 1927 г. выходцами из рабочих были 49% коммунистов, занимавших ответственные должности в партийном аппарате, в то время как в государственном и советском бюрократическом аппарате аналогичная цифра для коммунистов составляла 35%. Это несоответствие было еще более заметным на верхних уровнях административной иерархии. Лишь очень немногие коммунисты из числа занимавших высшие государственные должности принадлежали к рабочему классу, в то время как выходцами из рабочих являлась почти половина региональных партийных секретарей (возглавлявших областные, губернские и краевые партийные организации)¹⁴.

Борьба за власть

При жизни Ленина большевики признавали его вождем партии. Тем не менее у партии формально

14. *Коммунисты в составе аппарата госучреждений и общественных организаций. Итоги всесоюзной партийной переписи 1927 года* (Москва, 1929), 25; *Большевик*. 1928. № 15. С. 20.

не было вождя и мысль о том, что он необходим, считалась большевиками оскорбительной. Никого не удивляло то, что во время бурных политических событий товарищи по партии упрекали Ленина в злоупотреблении своим личным авторитетом; и хотя Ленину обычно удавалось настоять на своем, он не требовал лести или каких-либо особых проявлений уважения к себе. Большевики не питали ничего, кроме презрения, к Муссолини и его итальянским фашистам, считая их политическими дикарями, вырядившимися в опереточную униформу и произносящими клятвы верности своему дуче. Более того, большевики выучили уроки истории и не собирались допустить, чтобы Русская революция переродилась так же, как французская революция, пришедшая к тому, что Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором. Угроза бонапартизма — перерождения военных вождей революции в диктаторов, — служила темой частых дискуссий в большевистской партии, обычно сопровождавшихся неявными отсылками к Троцкому, создателю Красной армии, который во время Гражданской войны приобрел в глазах молодых коммунистов ореол героя. Предполагалось, что любой потенциальный Бонапарт будет харизматической фигурой, способной заразить аудиторию грандиозными мечтами и, вероятно, одетой в военную форму.

Ленин умер в январе 1924 г. Но его здоровье серьезно ухудшилось еще в середине 1921 г., после чего он лишь спорадически возобновлял активное участие в политической жизни. После удара, перенесенного им в мае 1922 г., он оставался частично парализованным, а второй удар, случившийся в марте 1923 г., привел к еще более обширному параличу и утрате речи. Таким образом, политическая смерть Ленина происходила постепенно, и он

имел возможность лично наблюдать ее первые итоги. Его обязанности как главы правительства взяли на себя три заместителя, наиболее важным из которых был Алексей Рыков, в 1924 г. сменивший Ленина в качестве председателя Совета народных комиссаров. Но было ясно, что основным средоточьем власти являлось не правительство, а партийное Политбюро, в состав которого входило семь полноправных членов, включая Ленина. Другими членами Политбюро были Троцкий (нарком по военным делам), Сталин (генеральный секретарь партии), Зиновьев (глава ленинградской партийной организации и глава Коминтерна), Каменев (глава московской партийной организации), Рыков (первый заместитель председателя Совета народных комиссаров) и Михаил Томский (глава Центрального совета профсоюзов).

Во время болезни Ленина — и, более того, после его смерти — Политбюро взяло на себя обязательство играть роль коллективного вождя, и все его члены решительно отрицали, что кто-либо из них может заменить Ленина или стремится приобрести такое же, как у него, влияние. Тем не менее на протяжении 1923 г. развернулась ожесточенная, хотя и довольно скрытная борьба за власть, в ходе которой триумвират в составе Зиновьева, Каменева и Сталина сплотился против Троцкого. Последний — чужак в руководстве партии, в силу как своего запоздалого вступления в партию, так и последующих ярких достижений, — считался амбициозным претендентом на верховную должность, хотя сам он активно отрекся от подобных намерений. В своей книге «Новый курс», написанной в конце 1923 г., Троцкий отвечал предупреждением о том, что старая гвардия большевистской партии утрачивает свой революционный дух, скатившись

в «консервативную, бюрократическую фракционность», и своими поступками все больше и больше походит на малочисленную правящую элиту, озабоченную только стремлением сохранить власть.

Ленин, по причине болезни отошедший от активного руководства партией, но все еще способный следить за маневрами своих возможных преемников, проникался аналогичным предвзятым отношением к Политбюро, начав называть его «олигархией». В своем так называемом «Завещании», написанном в декабре 1922 г., Ленин разобрал достоинства и недостатки различных партийных вождей — включая Сталина и Троцкого, выделенных им в качестве наиболее выдающихся — и, по сути, под видом вялых похвал предал их всех анафеме. О Сталине он писал, что тот сосредоточил в своих руках огромную власть, будучи генеральным секретарем партии, но не всегда в состоянии пользоваться этой властью с достаточной осмотрительностью. Спустя неделю, после стычки между Сталиным и женой Ленина Надеждой Крупской по поводу постельного режима Ленина, тот добавил к своему «Завещанию» постскрипtum, в котором писал, что Сталин «слишком груб» и должен быть снят с должности генерального секретаря¹⁵.

В тот момент многие большевики были бы удивлены сопоставлением Сталина с таким политическим тяжеловесом, как Троцкий. Сталин не обладал ни одной из тех черт, которые в глазах большевиков служили признаками выдающегося вождя. Он не был ни харизматической фигурой, ни отличным оратором, ни крупным теоретиком марксиз-

15. Текст «Завещания» включен в состав «Письма к съезду» Ленина (23–24.12.1922): В. И. Ленин, *Полное собрание сочинений*. Т. 45, 343–348.

ма, вроде Ленина или Троцкого. Его нельзя было назвать ни героем войны, ни видным сыном рабочего класса, ни даже сколько-нибудь заметным интеллектуалом. По словам Николая Суханова, он представлял собой «серое пятно», будучи умелым закулисным политиком, прекрасно разбиравшимся в устройстве партийной машины, но лично ничем не выделявшимся. В целом считалось, что главной фигурой в триумvirате Политбюро был не Сталин, а Зиновьев. Однако Ленин по сравнению с большинством находился в лучшем положении для того, чтобы оценить способности Сталина, так как тот был его правой рукой во время внутрипартийной борьбы 1920–1921 гг.

Битва триумvirата с Троцким достигла апогея зимой 1923–1924 гг. Несмотря на существование формального запрета на партийные фракции, ситуация во многих отношениях была сопоставима с положением в 1920–1921 гг., и Сталин в целом следовал той же стратегии, которую применял тогда Ленин. В ходе партийных дискуссий и выборов делегатов, предшествовавших XIII партийной конференции, сторонники Троцкого играли роль оппозиции, в то время как партийный аппарат был мобилизован на поддержку «большинства в ЦК», то есть триумvirата. «Большинство в ЦК» одержало верх, хотя очаги поддержки Троцкого существовали в партийных ячейках центральных органов правительства, университетов и Красной армии¹⁶. После первоначального голосования массированный нажим на ячейки, выступавшие за Троцкого, вынудил многие из них переметнуться на сторону большинства. Всего через несколько месяцев, вес-

16. См.: Robert V. Daniels, *The Conscience of the Revolution* (Cambridge, Mass., 1960), 225–230.

ной 1924 г., во время выборов делегатов на предстоящий партийный съезд, Троцкий, казалось, почти совершенно лишился какой-либо поддержки.

По сути это была победа партийной машины — то есть победа Сталина как генерального секретаря. Последний имел возможность манипулировать тем, что один исследователь назвал «круговоротом власти»¹⁷. Секретариат назначал секретарей, возглавлявших местные партийные организации, и мог сместить их в том случае, если они выказывали нежелательные фракционные поползновения. Местные партийные организации выбирали делегатов на общенациональные партийные конференции и съезды, и в качестве делегатов в первую очередь все чаще выбирали именно секретарей. В свою очередь, общенациональные партийные съезды выбирали членов Центрального комитета партии, Политбюро и Оргбюро — и, разумеется, секретариата. Короче говоря, генеральный секретарь мог не только карать политических противников, но и обеспечивать избрание тех делегатов, которые бы утверждали продление его полномочий¹⁸.

Одержав победу в решающей битве 1923–1924 гг., Сталин приступил к систематическому закреплению своих достижений. В 1925 г. он порвал с Зиновьевым и Каменевым, заставив их уйти в оппозицию и защищаться, но выглядеть при этом агрессорами. Впоследствии Зиновьев и Каменев сформировали вместе с Троцким объединенную оппозицию, которую Сталин разгромил без всякого труда: их сто-

17. Это выражение принадлежит Дэниэлсу. См. четкое и лаконичное обсуждение в: Hough and Fainsod, *How the Soviet Union is Governed*, 124–133, 144.

18. О формировании команды Сталина в ходе фракционной борьбы 1920-х гг. см.: Sheila Fitzpatrick, *On Stalin's Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Politics* (Princeton, 2015), ch. 1.

ронники назначались на должности в отдаленных регионах, и хотя вожди оппозиции все еще могли выступать на партийных съездах, на них присутствовало так мало делегатов от оппозиции, что ее вожди производили впечатление безответственных фрондеров, совершенно глухих к настроениям, преобладающим в партии. В 1927 г. вожди оппозиции и многие их сторонники были наконец исключены из партии за нарушение запрета на фракционную деятельность. После этого Троцкий и ряд других оппозиционеров были отправлены в административную ссылку в отдаленные места.

В ходе конфликта между Сталиным и Троцким разгорелись дискуссии по ряду вопросов, в частности, касавшихся стратегии индустриализации и политики по отношению к крестьянству. Впрочем, расхождения между Сталиным и Троцким по этим ключевым вопросам были не слишком серьезными (см. ниже, с. 208–210): оба они выступали за индустриализацию, не питая особых нежных чувств к крестьянству, хотя публичная позиция Сталина в середине 1920-х гг. была более умеренной, чем позиция Троцкого; но всего несколькими годами позже Сталина обвиняли в том, что он украл политику Троцкого, в годы Первой пятилетки взяв курс на ускоренную индустриализацию. В глазах рядовых членов партии теоретические разногласия между соперниками имели намного меньшее значение, чем их личные качества. Троцкого в целом воспринимали (не обязательно одобрительно) в качестве еврея-интеллектуала, продемонстрировавшего безжалостность и яркий, харизматический стиль руководства во время Гражданской войны; Сталин, фигура более нейтральная и теневая, не был, как известно, ни харизматической личностью, ни интеллектуалом, ни евреем.

В каком-то смысле реальным камнем преткновения в конфликте между партийной машиной и ее противниками была сама машина. Так, вне зависимости от природы первоначальных разногласий с господствующей фракцией, все оппозиционеры 1920-х гг. приходили к одному и тому же главному обвинению: партия «обюрократизировалась», а Сталин убил традицию внутрипартийной демократии¹⁹. Эта «оппозиционная» точка зрения приписывалась даже Ленину в последние годы его жизни²⁰ — возможно, не без оснований, поскольку Ленин тоже был выдавлен из внутреннего круга вождей, хотя в данном случае причиной этого была его болезнь, а не политическое поражение. Но было бы трудно представить себе Ленина, во многих отношениях являвшегося политическим наставником Сталина, реальным сторонником принципа партийной демократии, восставшим против партийной машины. Прежде Ленина беспокоила не концентрация власти *per se*, а вопрос о том, в чьих руках она концентрировалась. Аналогично, в своем «Завещании», написанном в декабре 1922 г., Ленин не предлагал сократить полномочия секретариата партии. Он просто указывал, что генеральным секретарем следует назначить кого-то другого вместо Сталина.

Тем не менее, при всех элементах преемственности между Лениным и Сталиным в 1920-е гг.,

19. Это центральная тема работы Дэниэлса, посвященной коммунистическим оппозициям 1920-х гг., «Совесть революции» (*The Conscience of the Revolution*), — хотя, как указывает ее название, Дэниэлс усматривает в призывах к внутрипартийной демократии скорее выражение революционного идеализма, нежели неотъемлемую функцию оппозиции.

20. См.: Moshe Lewin, *Lenin's Last Struggle* (New York, 1968). Альтернативную интерпретацию см. в: Сервис, *Ленин*, гл. 26–28.

смерть Ленина и последующая борьба за власть представляли собой политический поворотный пункт. Стремясь к власти, Сталин применял против своих противников методы Ленина, но применял их с такой обстоятельностью и безжалостностью, к какой никогда не прибегал Ленин — чей личный авторитет в партии сложился очень давно. Получив власть, Сталин начал с того, что стал играть прежнюю роль Ленина — роль первого среди равных в Политбюро. Но между тем смерть превратила Ленина в Вождя с большой буквы — почти богоподобное существо, не ведающее ни ошибок, ни сомнений, чье забальзамированное тело было благоговейно выставлено в Мавзолее ради воодушевления народа²¹. Посмертный культ Ленина разрушил старый большевистский миф о партии без вождей. Если новый вождь желал стать чем-то большим, чем первый среди равных, то у него была опора, от которой он мог отталкиваться.

Построение социализма в одной стране

Большевики объявляли целью своего пребывания у власти «строительство социализма». При всей смутности их представлений о том, что такое социализм, они четко понимали, что ключ к «строительству социализма» — экономическое развитие и модернизация. В качестве предпосылок к социализму России требовалось больше заводов, железных дорог, станков и техники. Она нуждалась в урбанизации, в миграции населения из села в город и в намного более крупном, постоянном городском

21. О возникновении культа Ленина см.: Нина Тумаркин, *Ленин жив!* (Санкт-Петербург, 1999).

рабочем классе. Ей требовалось более грамотное население, больше школ, больше квалифицированных рабочих и инженеров. Строительство социализма означало превращение России в современное индустриальное общество.

Большевики четко представляли себе это превращение, потому что по сути именно оно было осуществлено капитализмом в более передовых странах Запада. Но большевики взяли власть «преждевременно», — то есть именно им предстояло проделать работу капиталистов в России. Меньшевики полагали, что это рискованно с практической точки зрения и в высшей степени сомнительно в теоретическом плане. По сути, большевики сами не знали, как им решить эту задачу. В первые годы после Октябрьской революции они нередко намекали на то, что для продвижения к социализму России понадобится помощь индустриализованной Западной Европы (после того как Европа совершит революцию по примеру России). Но революционное движение в Европе потерпело крах, вновь лишив большевиков представлений о том, что им следует делать, но не поколебав их решимости каким-либо образом все же двигаться дальше. В 1923 г., вспоминая старые дискуссии о преждевременности революции, Ленин по-прежнему находил возражения меньшевиков «бесконечно банальными». Во время революционной ситуации, как выразился Наполеон в отношении войны, «on s'engage et puis... on voit». Большевики пошли на риск и, как заключал Ленин, сейчас — шесть лет спустя — уже не могло быть сомнений в том, что «в целом» они достигли успеха²².

22. В.И. Ленин, «Наша революция (по поводу записок Н. Суханова)», в В.И. Ленин. *Полное собрание сочинений*. Т. 45.

Возможно, он всего лишь делал хорошую мину при плохой игре, так как даже самые оптимистичные из большевиков были потрясены экономической ситуацией, с которой они столкнулись к концу Гражданской войны. Казалось, что Россия, в насмешку над всеми чаяниями большевиков, сбросила с себя XX век и погрузилась из относительной в абсолютную отсталость. Города пришли в упадок, на заброшенных заводах ржавели станки, а половина промышленного рабочего класса, судя по всему, вернулась в ряды крестьянства. Как показала перепись 1926 г., в годы сразу же после Гражданской войны Европейская Россия имела *более низкий* уровень урбанизации, чем в 1897 г. Крестьяне вновь обратились к традиционному натуральному сельскому хозяйству, словно бы надеясь вернуться в тот золотой век, который существовал до учреждения крепостного права.

Провозглашение нэпа в 1921 г. служило признанием в том, что даже если большевики и способны повторить достижения крупных капиталистов, им в ближайшее время не обойтись без мелких капиталистов. В городах допускалось возрождение частной торговли и мелкой частной промышленности. В деревне большевики уже позволили крестьянам обращаться с землей так, как им заблагорассудится, а теперь принимали меры к тому, чтобы те сыграли роль надежных «мелкобуржуазных» поставщиков продукции на городской рынок, а также потребителей городских промышленных товаров. Советские власти в 1920-е гг. продолжили начавшуюся уже при Столыпине политику, направленную на консолидацию крестьянских земельных наделов, хотя и воздерживались от каких-либо прямых нападок на авторитет мира. С большевистской точки зрения мелкобуржуазное фермерское хозяйство

было предпочтительнее традиционного общинного и почти натурального крестьянского хозяйства, и большевики предпринимали все возможные меры для поддержки фермеров.

Тем не менее отношение большевиков к частному сектору в годы нэпа всегда отличалось амбивалентностью. Они нуждались в частном секторе, чтобы после Гражданской войны восстановить разрушенную экономику, и полагали, что вероятно, будут нуждаться в нем на первых этапах последующего экономического развития. Однако даже частичное возрождение капитализма воспринималось большинством членов партии как оскорбление и пугало их. В тех случаях, когда иностранным компаниям выдавались «концессии» на создание промышленных и горнорудных предприятий, советские власти с нетерпением ожидали того момента, когда предприятие в их глазах становилось достаточно окрепшим для того, чтобы выкупить его у иностранцев и отозвать концессию. Отношение к местным частным предпринимателям (нэпманам) отличалось большой подозрительностью, и во второй половине 1920-х гг. ограничения на их деятельность стали столь обременительными, что многие предприятия были ликвидированы, а оставшиеся нэпманы приобрели репутацию жуликов, балансирующих на самой грани закона.

Еще более противоречивым был подход большевиков к крестьянству в годы нэпа. Их долгосрочной целью служило создание коллективных и крупных сельскохозяйственных предприятий, но согласно традиционным представлениям середины 1920-х гг. это было делом лишь отдаленного будущего. До тех же пор с крестьянством приходилось мириться и позволять ему идти своим собственным мелкобуржуазным путем; кроме того,

государство было экономически заинтересовано в поощрении крестьян к освоению передовых методов ведения хозяйства и к повышению производительности труда. Соответственно, режим терпимо и даже одобрительно относился к тем крестьянам, которые отличались трудолюбием и добивались успехов в своих личных хозяйствах.

Однако на практике большевики питали крайние подозрения в отношении крестьян, процветавших по сравнению со своими соседями. Такие крестьяне считались потенциальными эксплуататорами и сельскими капиталистами, нередко оказываясь зачисленными в «кулаки», что влекло за собой различные формы дискриминации, включая лишение избирательных прав. Несмотря на все слова про союз с крестьянами-«середняками» (являвшимися промежуточной категорией между «зажиточными» и «беднотой», к которой относилось подавляющее большинство всех крестьян), большевики бдительно отслеживали признаки классового расслоения среди крестьян, надеясь на возможность ввязаться в классовую борьбу между ними и поддержать бедных крестьян в их противостоянии с богатыми.

Тем не менее ключом к экономическому развитию в глазах большевиков оставался город, а не деревня. Когда большевики говорили о строительстве социализма, в первую очередь они имели в виду индустриализацию, которой в конечном счете предстояло преобразовать не только городскую экономику, но и сельскую. Сразу же после Гражданской войны почти неподъемной казалась задача восстановления промышленного производства до уровня 1913 г.: ленинский план электрификации был практически единственным долгосрочным проектом развития в первой половине 1920-х гг., и несмотря

на всю окружавшую его рекламу, первоначальные цели этого плана были весьма скромными. Однако в 1924–1925 гг. неожиданно быстрое восстановление промышленности и экономики в целом вызвало прилив оптимизма у большевистских вождей и переоценку возможностей серьезного промышленного развития в ближайшем будущем. Феликс Дзержинский, в годы Гражданской войны возглавлявший ЧК и являвшийся одним из лучших партийных организаторов, в 1924 г. возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и начал перестраивать его в мощное министерство промышленности, которое, подобно предшествовавшим органам царского правительства, занималось главным образом развитием металлургической, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Возросший оптимизм в отношении шансов на ускоренное промышленное развитие отразился в следующем уверенном заявлении Дзержинского, сделанным им в конце 1925 г.:

Эти новые задачи [индустриализации] не являются просто задачами того же порядка, которые мы теоретически выдвигали 10–15 или даже 20 лет тому назад, говоря, что нельзя строить социализм, не держа курса на индустриализацию страны. Мы сейчас ставим вопрос не в этой общей теоретической плоскости, а как конкретное определенное задание всей текущей хозяйственной деятельности²³.

Между вождями партии не наблюдалось серьезных разногласий в отношении желательности ускоренной индустриализации, хотя этот вопрос неизбежно становился предметом препирательств

23. Цит. по: Ю. В. Воскресенский, *Переход Коммунистической Партии к осуществлению политики социалистической индустриализации СССР (1925–1927)* (Москва, 1969), 162.

в ходе фракционной борьбы середины 1920-х гг. Троцкий, один из немногих большевиков, активно поддерживавших государственное экономическое планирование даже в первые унылые годы нэпа, был бы только рад защищать дело индустриализации от своих политических оппонентов. Но Сталин в 1925 г. ясно дал понять, что отныне индустриализация — *его* дело и один из его важнейших приоритетов. На 8-ю годовщину Октябрьской революции Сталин сравнил недавнее решение партии ускорить индустриализацию на основе пятилетнего плана с судьбоносным решением Ленина захватить власть, принятым в 1917 г.²⁴ Это было смелое сравнение, указывающее не только на статус, которого добивался Сталин, но и на значение, которое он придавал политике индустриализации. Казалось, что он уже наметил себе место в истории в качестве наследника Ленина: ему предстояло стать Сталиным-индустриализатором.

Новая ориентация партии нашла выражение в лозунге Сталина «Социализм в одной стране». Это означало, что Россия готовилась осуществить индустриализацию, стать сильной и могущественной, создать предпосылки социализма своими собственными усилиями, без посторонней помощи. Главной целью советской Коммунистической партии становилась модернизация страны, а не мировая революция. Отныне большевики не нуждались в европейской революции как в опоре для своей собственной пролетарской революции. Им не требовалась добрая воля иностранцев — будь то революционеры или капиталисты — для строительства

24. И. В. Сталин, «Октябрь, Ленин и перспективы нашего развития. 7.11.1925», в И. В. Сталин, *Сочинения*. (Москва, 1948–1952). Т. 7.

советской власти. Их собственных сил, как и в октябре 1917 г., было достаточно для победы в сражении.

С учетом бесспорного факта мировой изоляции Советского Союза и стремления Сталина любой ценой осуществить индустриализацию страны лозунг «Социализм в одной стране» был полезен с точки зрения сплочения сил и являлся удачной политической стратегией. Но это была такая стратегия, против которой нередко считали себя обязанными выступить старые большевики, воспитанные в традициях строгой марксистской теории, даже в тех случаях, когда у них не имелось серьезных практических возражений. В конце концов, существовали *теоретические* проблемы, требовавшие решения, и тревожные нотки национально-шовинизма, словно бы партия потворствовала настроениям политически отсталого советского населения. В эту ловушку угодил сперва Зиновьев (до 1926 г. возглавлявший Коминтерн), а затем Троцкий, выдвинув против лозунга «Социализм в одной стране» возражения — идеологически безупречные и катастрофические с политической точки зрения. Эти возражения позволили Сталину очернять своих противников, в то же время подчеркивая тот политически выигрышный факт, что он выступает за национальное строительство и сильную Россию²⁵.

Когда Троцкий, еврей-интеллектуал, указывал, что большевики всегда были интернационалистами, сторонники Сталина объявляли его космополитом, больше волнуемым за Европу, чем за Россию. Когда же Троцкий справедливо утверждал, что

25. См. об этих дискуссиях: E. H. Carr, *Socialism in One Country*, ii, 36–51.

он выступает за индустриализацию так же решительно, как и Сталин, люди Сталина вспоминали, что в 1920 г. Троцкий предлагал ввести трудовую повинность, а потому, в отличие от Сталина, ради индустриализации, вероятно, был готов пожертвовать интересами российского рабочего класса. Тем не менее, когда ставился вопрос о финансировании индустриализации и Троцкий говорил о внешней торговле и зарубежных кредитах, без которых было не обойтись, чтобы не подвергать русское население невыносимой эксплуатации, это служило лишь дальнейшим доказательством «интернационализма» Троцкого — не говоря уже об отсутствии у него чувства реализма, поскольку доступность крупномасштабной внешней торговли и зарубежных кредитов выглядела все менее вероятной. Напротив, Сталин занимал позицию, являвшуюся в одно и то же время и патриотичной, и практичной: Советский Союз не нуждается в благодеяниях капиталистического Запада и не желает их выпрашивать.

Однако финансирование индустриализации оставалось серьезным вопросом, который не удалось бы утопить в цветастой риторике. Большевики знали, что предпосылкой для буржуазной промышленной революции являлось накопление капитала и что этот процесс сопровождался страданиями населения, ярко описанными Марксом. Советскому режиму при индустриализации тоже не удалось бы обойтись без накопления капитала. Богатства старой русской буржуазии уже подверглись экспроприации, а новая буржуазия — нэпманы и кулаки — не имела ни времени, ни возможности для накопления значительных средств. Если Россия, в результате революции оказавшаяся в политической изоляции, не могла последовать примеру Витте и получить капитал от Запада, то режим

должен был полагаться на свои собственные ресурсы и на ресурсы населения, подавляющее большинство которого по-прежнему составляло крестьянство. Означала ли в таком случае советская индустриализация «выжимание соков из крестьянства»? А если дело обстояло именно таким образом, то мог ли режим пережить политическую конфронтацию, с которой ему наверняка пришлось бы при этом столкнуться?

В середине 1920-х гг. этот вопрос служил предметом дискуссий между оппозиционером Преображенским и Бухариным, в то время сталинистом. Оба они, ранее совместно написавшие «Азбуку коммунизма», были известными марксистскими теоретиками, специализировавшимися соответственно на экономической и политической теории. В ходе этой дискуссии Преображенский (выступавший в качестве экономиста) утверждал, что для оплаты индустриализации придется взимать «дань» с крестьянства, главным образом навязывая аграрному сектору высокие цены на промышленные товары. Бухарин находил это неприемлемым в политическом плане, возражая, что такая мера, скорее всего, ожесточит крестьянство и что режим не может рисковать разрывом союза между рабочими и крестьянами, описывавшегося Лениным как политическая основа нэпа. Дискуссия не привела ни к какому определенному результату, поскольку Бухарин был согласен с тем, что индустриализация необходима, и потому следует каким-то образом накопить капитал, а Преображенский был согласен с тем, что насильственные меры и жестокая конфронтация с крестьянством нежелательны²⁶.

26. Подробный анализ этой дискуссии см.: A. Erlich, *The Soviet Industrialization Debate, 1924-1926* (Cambridge, Mass., 1960);

Сталин не принял участия в этой дискуссии, и это заставило многих предположить, что он разделяет позицию своего союзника, Бухарина. Однако налицо были уже некоторые признаки того, что Сталин настроен по отношению к крестьянству менее примиренчески, чем Бухарин: он занял более жесткую линию по отношению к кулацкой угрозе, а в 1925 г. открыто отмежевался от обращенного к крестьянству жизнерадостного бухаринского призыва «обогащаться» с одобрения режима. Более того, Сталин самым решительным образом выступал за индустриализацию; а из дискуссии между Преображенским и Бухариным следовал вывод о том, что России следует либо отложить индустриализацию, либо идти на риск серьезного противостояния с крестьянством. Сталин был не таким человеком, чтобы заранее провозглашать непопулярную политику, но задним числом нетрудно догадаться, какому варианту он отдавал предпочтение. Как отмечал Сталин в 1927 г., нэп с его экономическим возрождением, обеспечившим восстановление промышленного производства и возрастание численности промышленного пролетариата почти до довоенного уровня, изменил соотношение сил между городом и деревней в пользу города. Сталин намеревался осуществить индустриализацию, и если это означало политическую конфронтацию с деревней, то, по мнению Сталина, эта конфронтация должна была завершиться победой «города» — то есть городского пролетариата и советского режима.

Провозглашая в 1921 г. нэп, Ленин называл его стратегическим отступлением, паузой, во время ко-

Александр Эрлих, *Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924–1928* (Москва, 2010).

торой большевикам следовало сплотить ряды и накопить силы для возобновления революционного наступления. Спустя менее чем десять лет Сталин в основном отказался от нэпа и начал новый этап революционных изменений, которым стала Первая пятилетка с ее индустриализацией и коллективизацией крестьянского сельского хозяйства. Сталин говорил (несомненно, искренне), что это подлинно ленинский курс, путь, которым пошел бы сам Ленин, если бы был жив. Как будет показано в следующей главе, другие вожди партии, включая Бухарина и Рыкова, не были согласны с этим, указывая на слова Ленина о том, что умеренные и примирительные меры, предпринимаемые в рамках нэпа, вводятся «всерьез и надолго» — до тех пор пока у режима не появится надежда на очередные решительные шаги в сторону социализма.

Историки по-разному оценивают политическое наследие Ленина. Некоторые признают, что Сталин, к лучшему или к худшему, был истинным наследником Ленина, в то время как другие считают, что Сталин по сути предал ленинскую революцию. Разумеется, последней точки зрения придерживался и Троцкий, тоже видевший себя наследником Ленина, но в принципе он не имел серьезных возражений против отказа Сталина от нэпа и осуществленных им в годы Первой пятилетки экономических и социальных преобразований. В 1970-е гг., а также в недолгий период горбачевской перестройки в СССР исследователи проявляли интерес к «бухаринской альтернативе» Сталину, усматривая принципиальные различия между ленинизмом (или «исконным большевизмом») и сталинизмом²⁷.

27. См.: Stephen F. Cohen, «Bolshevism and Stalinism», in Tucker (ed.), *Stalinism, and Bukharin and the Bolshevik Revolution* (New

Бухаринская альтернатива по сути представляла собой продолжение нэпа в пределах обозримого будущего, по крайней мере подразумевая возможность того, что большевики, находясь у власти, будут способны достичь своих революционных экономических и социальных целей эволюционными средствами.

Отказался бы Ленин от нэпа в конце 1920-х гг., если бы остался в живых, — один из тех вопросов в истории, на который нам никогда не дать однозначного ответа. В 1921–1923 гг., в свои последние годы жизни, Ленин — как и все вожди большевиков в то время — пессимистически оценивал перспективы на радикальные перемены и не одобрял сохранения у членов партии каких-либо сожалений о только что отвергнутой политике военного коммунизма. Но Ленин был исключительно гибким мыслителем и политиком, и его настроения — как и настроения других большевистских вождей — могли резко измениться в ответ на неожиданно быстрое экономическое возрождение 1924–1925 гг. В конце концов, еще в январе 1917 г. Ленин считал возможным, что при жизни ему не удастся увидеть «решающих боев этой революции», а в сентябре того же года он настаивал на абсолютной необходимости захватить власть от имени пролетариата. В целом Ленин не желал быть пассивной жертвой обстоятельств, как в принципе большевики понимали свое положение в годы нэпа. Ленин был по своему темпераменту революционером, а нэп ни в коем случае не означал осуществления его революционных целей в экономическом и социальном плане.

York, 1973); Moshe Lewin, *Political Undercurrents in Soviet Economic Debates: From Bukharin to the Modern Reformers* (Princeton, NJ, 1974).

Однако за этой дискуссией о Ленине скрывается вопрос более общего плана о том, была ли готова большевистская партия как целое признать нэп в качестве завершения и итога Октябрьской революции. После того как Хрущев на XX съезде партии в 1956 г. осудил злоупотребления сталинской эры, многие советские интеллектуалы, принадлежавшие к старшему поколению, принялись писать мемуары о 1920-х гг. — поре своей юности, — изображая нэп едва ли не как золотой век, и западные историки нередко вставали на аналогичную точку зрения. Но в ретроспективе понятно, что позитивные стороны нэпа — относительная релаксация общества и разнообразие в его рамках, а также занятая режимом позиция относительного невмешательства, — не были качествами, особо ценившимися в то время революционерами-коммунистами. Коммунисты 1920-х гг. боялись классовых врагов, нетерпимо относились к культурному плюрализму и беспокоились по поводу отсутствия единства в партийном руководстве и утраты чувства направления и цели. Они хотели, чтобы их революция преобразила мир, но в годы нэпа стало более чем ясно, что от старого мира осталось еще очень много.

Для коммунистов нэп пахивал Термидором — периодом перерождения великой Французской революции. В 1926–1927 гг. борьба между руководством партии и оппозицией достигла новых высот ожесточенности. Каждая из сторон обвиняла другую в заговоре и предательстве революции. Часто проводились аналогии с Французской революцией: иногда в связи с угрозой «Термидора и перерождения партии», в других же случаях они сопровождались зловещими намеками на целительный эффект гильотины. (В прошлом большевистские интел-

лектуалы гордились знанием истории революций, учившей их тому, что революции гибнут тогда, когда начинают пожирать своих сторонников)²⁸.

Существовали и признаки того, что ощущение неблагополучия было присуще не только партийной элите. Многие рядовые коммунисты и сочувствующие, особенно из числа молодежи, испытывали разочарование и склонялись к мысли, что революция зашла в тупик. Рабочие (включая рабочих-коммунистов) возмущались привилегиями «буржуазных специалистов» и советских чиновников, прибылями спекулянтов-нэпманов, высоким уровнем безработицы, а также сохранением неравенства в плане возможностей и уровня жизни. Партийным агитаторам и пропагандистам нередко приходилось отвечать на раздраженный вопрос: «За что боролись?». В партии царили совсем иные настроения, нежели удовлетворение тем, что молодая Советская республика наконец-то достигла тихой гавани. Тон задавали беспокойство, неудовлетворенность, едва скрываемая воинственность и, особенно среди молодых партийцев, ностальгия по старым героическим дням Гражданской войны²⁹. Для Коммунистической партии — в 1920-е гг. еще молодой партии, сформированной испытаниями революции и Гражданской войны и по-прежнему считавшей себя (как выразился Ленин в 1917 г.) «вооруженным рабочим классом» — мир, возможно, настал слишком рано.

28. О партийных дискуссиях, затрагивавших тему Термидора, см.: Исаак Дойчер, *Троцкий: Безоружный пророк, 1929–1940* (Москва, 2006), гл. 5; Michal Reiman, *The Birth of Stalinism*, trans. by George Saunders (Bloomington, Ind., 1987), 22–23.

29. О беспокойстве по поводу отчуждения молодежи см.: Anne E. Gorsuch, *Youth in Revolutionary Russia* (Bloomington, Ind., 2000), 168–181.

Сталинская революция

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ страны во время Первой пятилетки (1929–1932 гг.) и сопутствовавшая принудительная коллективизация сельского хозяйства нередко называются «революцией сверху». Но не менее уместной была военная образность, и в то время — «в разгар битвы», как любили выражаться советские комментаторы, — военные метафоры получили даже большее распространение, чем революционные. Коммунистов называли «борцами», советские силы подлежали «мобилизации» для сражений на «фронтах» индустриализации и коллективизации, а со стороны таких классовых врагов, как буржуазия и кулаки, ожидалась «контрудары» и «засады». Это была война с отсталостью России и в то же время война с классовыми врагами пролетариата вне и внутри страны. Более того, по мнению некоторых последующих историков, это был период «войны со своим народом», которую вел Сталин¹.

Военные образы явно были призваны символизировать возвращение к духу Гражданской войны и «Военного коммунизма», а также отказ от совсем не героических компромиссов нэпа. Но Сталин не просто играл с символами: Советский Союз в годы Первой пятилетки во многих отношениях действительно напоминал воюющую страну. По-

1. См., например: Adam B. Ulam, *Stalin* (New York, 1973), ch. 8.

литическая оппозиция и сопротивление политике режима осуждались как предательство и нередко карались едва ли не по законам военного времени. Необходимость в бдительности, вызванная деятельностью шпионов и вредителей, стала постоянной темой в советской печати. Население призывалось к патриотической солидарности и должно было понести многочисленные жертвы ради успеха индустриализации: в качестве очередного (пусть и невольного) напоминания о годах войны в городах была вновь введена карточная система.

Хотя в этой атмосфере военного кризиса нередко видят всего лишь реакцию на тяготы ускоренной индустриализации и коллективизации, в реальности она предшествовала им. Психологическое состояние военного положения существовало в стране с кризисных дней 1927 г., когда и в партии, и в стране многие были уверены в неизбежности новой военной интервенции со стороны капиталистических держав. Незадолго до этого Советский Союз пережил серию ударов, направленных против его внешнеполитических позиций и Коминтерна: британский налет на советское торговое представительство (АРКОС) в Лондоне, нападение Гоминдана на союзных СССР коммунистов в Китае, убийство советского дипломатического полномочного представителя в Польше. Троцкий и другие оппозиционеры возлагали вину за эти внешнеполитические поражения, особенно китайское, на Сталина. Ряд вождей Советского Союза и Коминтерна публично интерпретировали эти удары как признаки активного антисоветского заговора во главе с Великобританией, который должен был завершиться согласованным военным нападением на Советский Союз. Напряжение внутри

страны возрастало по мере того, как ГПУ (преемник ЧК) производило аресты предполагаемых врагов режима, а печать сообщала о проявлениях антисоветского террора и о раскрытии внутренних заговоров против режима. Крестьяне, ожидая войны, сокращали поставки зерна на рынок; и городское, и сельское население панически скупало потребительские товары первой необходимости.

Большинство западных историков полагает, что реальной, непосредственной угрозы интервенции не существовало; той же точки зрения придерживались советский Наркомат иностранных дел и, почти наверняка, такие члены Политбюро, как Алексей Рыков, не верившие в заговоры. Но другие представители партийного руководства легче поддавались тревоге. В их число входил легковозбудимый Бухарин, в тот момент возглавлявший Коминтерн, зараженный алармистскими слухами при почти полном отсутствии достоверной информации о намерениях зарубежных правительств.

Труднее оценить настроения Сталина. В течение нескольких месяцев, пока шли тревожные дебаты о военной угрозе, он хранил молчание. Затем, в середине 1927 г., он очень ловко увязал этот вопрос с темой оппозиции. Отрицая непосредственную угрозу войны, он тем не менее осудил Троцкого за его заявление о том, что он, подобно Клемансо в годы Первой мировой войны, не откажется от активного противодействия руководству страны даже тогда, когда враг будет стоять у ворот столицы. Лояльные коммунисты и советские патриоты восприняли эти слова едва ли не как измену; и вероятно, они сыграли решающую роль, позволив Сталину несколько месяцев спустя окончательно разгромить оппозицию, когда Троцкий и другие вожди оппозиции были изгнаны из партии.

Борьба Сталина с Троцким в 1927 г. привела к тревожному росту политической температуры. Нарушив прежнее табу, существовавшее в большевистской партии, ее вожди санкционировали аресты и административную ссылку своих политических противников, а также другие формы давления ГПУ на оппозицию. (Сам Троцкий после исключения из партии был сослан в Алма-Ату; в январе 1929 г. по приказу Политбюро он был депортирован из Советского Союза). В конце 1927 г., в ответ на донесения ГПУ об угрозе оппозиционного путча, Сталин предъявил Политбюро набор предложений, которые можно сравнить только с печально известным Законом о подозрительных лицах, принятом в годы Французской революции². Его предложения, принятые, но не опубликованные, состояли в том, чтобы

лица, распространяющие оппозиционные взгляды, рассматривались как опасные сообщники внешних и внутренних врагов Советского Союза и чтобы такие лица объявлялись «шпионами» по административному указу ГПУ; чтобы ГПУ организовало широко разветвленную сеть агентов с целью выявить враждебные элементы в государственном аппарате вплоть до его высших уровней и в партии, включая ее руководящие органы.

В итоге Сталин заявлял: «Устранению подлежат все, кто возбудит хоть малейшее подозрение»³.

2. Приняв Закон о подозрительных лицах (17.09.1793), якобинский Конвент в соответствии с ним приказал немедленно арестовать всех лиц, чьи поступки, связи, письменные произведения или поведение в целом могли быть сочтены угрозой для революции. О восхищении Сталина французским революционным террором см.: Дмитрий Волкогонов, *Триумф и трагедия* (Москва, 1989), кн. 1, ч. 2, с. 201.

3. Цит. по документу из Политического архива германского

Атмосфера кризиса, порожденная расправой с оппозицией и военной угрозой, обострилась в первые месяцы 1928 г. после начала крупномасштабной конфронтации с крестьянством (см. ниже, с. 124–126) и предъявления старой «буржуазной» интеллигенции обвинений в нелояльности. В марте 1928 г. государственный обвинитель объявил о предстоящем суде над группой инженеров из района г. Шахты в Донбассе, обвиняемых в целенаправленном саботаже горнорудной промышленности и в сговоре с иностранными державами⁴. Это был первый из ряда показательных процессов над буржуазными специалистами, в ходе которых обвинение увязывало внутреннюю угрозу, исходившую от классовых врагов, с угрозой интервенции со стороны зарубежных капиталистических держав, а обвиняемые признавались в своей вине и давали обстоятельные показания о своей подпольной деятельности.

Эти процессы, в большинстве своем подробно освещавшиеся в газетах, несли в себе недвусмысленный сигнал о том, что буржуазная интеллигенция, несмотря на ее заявления в лояльности советской власти, остается классовым врагом, по определению не заслуживающим доверия. Не столь явным, но все же вполне понятным для коммунистических директоров и управленцев, работавших с буржуазными специалистами, был сигнал о том, что и партийные кадры оказались не на высоте, будучи виновными в глупости и как

Министерства иностранных дел в: Reiman, *Birth of Stalinism*, 35–6.

4. О Шахтинском процессе и последующем процессе «Промпартии» см.: Kendall E. Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin* (Princeton, NJ, 1978), chs. 3–5.

минимум в доверчивости, позволяя специалистам водить их за нос⁵.

Новая политика эксплуатировала свойственные русскому рабочему классу и рядовым коммунистам подозрительность и враждебность к специалистам из старых привилегированных классов. В какой-то мере эти чувства, несомненно, являлись реакцией на скептическое отношение многих специалистов и инженеров к возможности достижения высоких планок, заданных Первым пятилетним планом. Тем не менее эта политика очень дорого обошлась режиму, приступавшему к выполнению программы срочной индустриализации, так же, как кампания 1928–1929 гг. против «кулаков» нанесла огромный ущерб в сельскохозяйственной сфере. В стране не хватало всевозможных специалистов, и в первую очередь инженеров, чьи навыки были необходимы для индустриализации (подавляющее большинство русских инженеров в 1928 г. принадлежало к «буржуазии» и не являлось коммунистами).

Какими мотивами руководствовался Сталин, развязывая кампанию против специалистов — загадка для историков. Вследствие полной неправдоподобности обвинений в заговоре и вредительстве и надуманности признаний, явно дававшихся обвиняемыми под давлением, нередко предполагалось, что Сталин и его коллеги сами ни в коем случае не верили в виновность подсудимых. Однако по мере поступления новых данных из архивов выглядит все более вероятным, что Сталин (но необязательно его коллеги по Политбюро) действительно верил в существование этих заговоров — или, по крайней мере, наполовину верил, в то же

5. См.: Sheila Fitzpatrick, «Stalin and the Making of a New Elite», in Fitzpatrick, *The Cultural Front*, 153–154, 162–165.

время понимая, что эта вера может обернуться новыми политическими очками.

Когда Вячеслав Менжинский, глава ОГПУ (бывшего ГПУ) послал Сталину материалы допроса специалистов, обвиняемых в принадлежности к «Промпартии», члены которой якобы готовили путч при поддержке капиталистов-эмигрантов и координировали свои замыслы с планами иностранной военной интервенции, Сталин дал ответ, указывающий на то, что он принимал признания обвиняемых за чистую монету и в то же время очень серьезно относился к угрозе грядущей войны. Как писал Сталин Менжинскому, наиболее интересными были показания, связанные с моментом запланированной военной интервенции:

Выходит, что предполагали интервенцию в 1930 г., но отложили на 1931 или даже 1932 г. Это очень вероятно и важно. Это тем более важно, что происходит от первоисточника, т.е. от группы Рябушинского, Гукасова, Денисова, Нобеля [капиталистов, владевших крупными активами в дореволюционной России], представляющей самую сильную социально-экономическую группу из всех существующих в СССР и эмиграции группировок, самую сильную как в смысле капитала, так и в смысле связей с французскими и английскими правительствами.

Имея эти показания, заключал Сталин, советский режим сможет предать их самой широкой огласке и в стране, и за рубежом, что позволит парализовать и подорвать «попытки интервенции на ближайшие 1–2 года, что для нас немаловажно»⁶.

6. Письмо Сталина В. Р. Менжинскому, ок. 1930 г., в: Diane P. Koenker and Ronald D. Bachman (eds.) *Revelations from the Russian Archives. Documents in English Translation* (Washington, DC, 1997), 243; И. В. Сталин, *Сочинения* (Тверь, 2004). Т. 17, с. 376–377.

Вне зависимости от того, верили ли Сталин и другие вожди в антисоветские заговоры и непосредственную военную угрозу, а если верили, то каким образом, эти идеи получили широкое распространение в Советском Союзе. Дело было не только в пропагандистских усилиях режима, но и в том, что эти представления, подкреплявшие существовавшие предрассудки и страхи, казались убедительными широким слоям советской общественности. С конца 1920-х гг. ссылками на внутренние и внешние заговоры регулярно объяснялись такие экономические проблемы, как нехватка продовольствия, а также аварии в промышленности, транспорте и электроэнергетике. Равным образом военная угроза стала неотъемлемой частью и советской ментальности этого периода: постоянно возвращавшийся призрак войны регулярно завладевал вниманием Политбюро и читающей газеты общественности вплоть до реального начала войны в 1941 г.

Сталин против правых

Зимой 1927–1928 гг. в руководстве партии произошел раскол по вопросу о политике в отношении крестьянства: на одной стороне оказался Сталин, а на другой — группа, впоследствии получившая известность как «правая оппозиция». Непосредственная задача заключалась в обеспечении страны зерном. Несмотря на хороший урожай, собранный осенью 1927 г., поставки крестьянского зерна на рынок и объемы государственных хлебозаготовок оказались намного ниже ожидаемых. Помимо угрозы войны, свою роль сыграли и низкие цены, предлагавшиеся государством за зер-

но. В условиях намечавшейся индустриализации вопрос заключался в том, следует ли государству пойти на риск политических осложнений и надавить на крестьян сильнее или же откупиться от них и смириться с экономическими последствиями такого шага.

В годы нэпа одна из сторон экономической философии режима заключалась в накоплении государственного капитала путем назначения относительно низких цен на сельскохозяйственную продукцию крестьянства и одновременного взимания относительно высоких цен за промышленные товары, произведенные национализированными предприятиями. Но на практике такая политика всегда смягчалась существованием свободного рынка зерна, вследствие чего государственные цены приближались к рыночному уровню. Государство не желало конфронтации с крестьянами и потому шло на уступки в тех случаях, когда разрыв между ценами на сельскохозяйственную и промышленную продукцию становился слишком большим — как произошло, например, во время кризиса 1923–1924 гг.

Однако в 1927 г. грядущая индустриализация изменила ситуацию в ряде отношений. Негарантированные поставки зерна ставили под угрозу планы крупномасштабного экспорта зерна для оплаты закупок иностранного оборудования. Высокий уровень цен на зерно сокращал объем доступных средств для инвестиций в промышленное развитие и ставил под удар выполнение Первого пятилетнего плана. Более того, поскольку предполагалось, что подавляющая часть зерна, поступавшего на рынок, поставлялась небольшой долей русских фермеров-крестьян, казалось вполне вероятным, что вся дополнительная выручка, обеспечиваемая

высокими ценами на зерно, достанется врагам режима — «кулакам», а вовсе не крестьянству в целом.

На XV съезде партии, проходившем в декабре 1927 г., главными темами публичной повестки дня являлись Первый пятилетний план и исключение из партии левой (троцкистско-зиновьевской) оппозиции. Но за кулисами важным вопросом, занимавшим вождей партии, служили хлебозаготовки, и обеспокоенное руководство провело совещания с участием делегатов из главных хлебных регионов страны. Вскоре после завершения съезда ряд членов Политбюро и ЦК партии отправился в срочные инспекционные поездки в эти регионы. Сам Сталин, после Гражданской войны всего несколько раз выезжавший из столицы, отбыл изучать положение в Сибири. Сибирская партийная организация, возглавлявшаяся одной из восходящих звезд партии, высокообразованным и энергичным Сергеем Сырцовым, пыталась избежать конфронтации с крестьянством по вопросу поставок, незадолго до того получив от Рыкова (главы советского правительства и члена Политбюро) заверения в том, что именно этой линии следует придерживаться. Однако Сталин считал иначе. Вернувшись из Сибири в начале 1928 г., он ознакомил со своей точкой зрения Политбюро и ЦК⁷.

Принципиальная проблема, по мнению Сталина, заключалась в том, что кулаки придерживают зерно, пытаясь диктовать советскому государству свои условия. Такие примирительные меры,

7. См. заявления Сталина о кризисе поставок: «О хлебозаготовках и перспективах развития сельского хозяйства» (01.1928) и «Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии» (13.02.1928): И. В. Сталин. *Сочинения*. Т. II. Их анализ см.: Moshe Lewin, *Russian Peasants and Soviet Power* (London, 1968), 214–240.

как повышение цен на зерно или увеличение поставок промышленных товаров в деревню, бесполезны, поскольку запросы кулаков лишь возрастут. В любом случае, государство не в состоянии удовлетворить их требования, поскольку приоритетом являются инвестиции в промышленность. Краткосрочный выход (иногда называвшийся «урало-сибирским методом» решения проблем с крестьянством) сводился к насилию: «укрывателей зерна» следовало судить по статье 107 Уголовного кодекса, первоначально направленной против городских спекулянтов.

Долгосрочное же решение, как полагал Сталин, заключалось в скорейшем проведении сельскохозяйственной коллективизации, которая позволит создать надежный источник зерна для городов, Красной армии и на экспорт, а также покончит с господством кулаков на хлебном рынке. Сталин утверждал, что эта политика не означает принятия радикальных антикулацких мер («раскулачивания») или возвращения к принятой в годы Гражданской войны практике принудительных реквизиций зерна. Но само это отрицание несло в себе зловещую нотку: для коммунистов, нуждавшихся в руководящих указаниях, ссылка на политику времен Гражданской войны вместе с отсутствием каких-либо лозунгов, связанных с нэпом, были равнозначны сигналу к атаке.

Политика Сталина — конфронтация вместо примирения, преследования, обыски в амбарах, дорожные заставы, не позволяющие крестьянам сбывать свое зерно перекупщикам, предлагающим более высокие цены, чем государство, — начала осуществляться весной 1928 г. и привела к временно-му росту поставок зерна, а также к резкому усилению напряженности в деревне. Но серьезные

разногласия в отношении новой политики царили и в самой партии. В январе местные партийные организации получали множество зачастую противоречивых указаний от заезжих членов Политбюро и ЦК. В то время как Сталин требовал от сибирских коммунистов проявлять твердость, Моше Фрумкин (заместитель наркома финансов), объезжавший соседний Южно-Уральский регион, советовал не ссориться с крестьянами и предлагать им в обмен на зерно промышленные товары, а Николай Угланов (глава московской партийной организации и кандидат в члены Политбюро) давал аналогичные советы на нижней Волге, отмечая вдобавок, что вследствие чрезмерного давления со стороны центра некоторые партийные функционеры на местах для получения зерна прибегают к нежелательным «методам военного коммунизма»⁸. Случайно или сознательно, Сталин выставил Углановых и Фрумкиных глупцами. Он отказался от своей прежней практики достижения консенсуса в Политбюро и самым деспотическим и провокационным образом просто гнул свою линию, невзирая на возражения.

Правая оппозиция, выступавшая против Сталина, начала складываться в партийном руководстве в начале 1928 г., всего через несколько месяцев после окончательного разгрома левой оппозиции. Суть позиции правых сводилась к тому, чтобы оставить неизменными политические рамки нэпа и его основные социальные принципы, поскольку

8. Совет Фрумкина приводится в: *За четкую классовую линию* (Новосибирск, 1929), 73–74; рекомендации Угланова были сформулированы в его речи, произнесенной в Москве в конце января, и опубликованы в: *Второй пленум МК РКП(б), 31 янв. — 2 фев. 1928. Доклады и резолюции* (Москва, 1928), 9–11, 38–40.

ку они представляли собой подлинно ленинский подход к строительству социализма. Правые выступали против насильственных мер по отношению к крестьянству, излишнего упора на кулацкую угрозу и политики, направленной на разжигание классовой войны в деревне путем стравливания бедных крестьян с более зажиточными. На аргумент о том, что принуждение крестьян необходимо для обеспечения хлебозаготовок (а соответственно, и экспорта зерна и финансирования индустриализации), правые отвечали предложением о том, чтобы установленные в Первом пятилетнем плане задачи роста объемов промышленного производства и темпов развития были «реалистичными», то есть относительно умеренными. Кроме того, правые выступали против новой политики, предполагавшей агрессивную классовую войну со старой интеллигенцией, нашедшую воплощение в Шахтинском процессе, и пытались разрядить атмосферу кризиса, усугублявшуюся постоянными разговорами о грядущей войне и угрозе со стороны шпионов и вредителей.

Главными правыми в Политбюро были Рыков, возглавлявший советское правительство, и Бухарин, главный редактор «Правды», глава Коминтерна и видный теоретик марксизма. За их конкретными политическими разногласиями со Сталиным скрывалось ощущение того, что Сталин самовольно изменил правила политической игры, сложившиеся после смерти Ленина, и бесцеремонно отказался от принципов коллективного руководства, одновременно с тем явно нарушая многие основные политические принципы нэпа. Помимо этого, Бухарин, без устали выступавший на стороне Сталина в баталиях с троцкистской и зиновьевской оппозициями, остро чувствовал предательство по отношению лично к себе самому. Сталин обращался

с ним как с равноправным политическим игроком и уверял его в том, что они — двое «Гималаев» партии, но сейчас его поступки указывали на то, что он не питал подлинного политического или личного уважения к Бухарину. Импульсивно реагируя на свое разочарование, Бухарин сделал катастрофический для себя шаг, летом 1928 г. вступив в тайные переговоры с некоторыми из вождей разгромленной левой оппозиции. Данное им в частном порядке определение Сталина как «Чингисхана», который погубит революцию, стало быстро известно Сталину, но не повысило доверия к Бухарину со стороны тех, на кого он еще недавно нападал от имени Сталина.

Несмотря на эту частную инициативу Бухарина, правые из числа членов Политбюро не предприняли никаких серьезных попыток создать оппозиционную фракцию (они видели, какому наказанию за «фракционность» подверглись левые), и вели свои дискуссии со Сталиным и его сторонниками в Политбюро за закрытыми дверями. Однако эта тактика тоже обнаружила серьезные недостатки, поскольку правые члены Политбюро были вынуждены участвовать в публичных нападках на невнятную и анонимную «правую опасность» — под которой подразумевались тенденция к малодушью, нерешительное руководство и отсутствие революционной уверенности, — в рядах партии. Тем, кто не входил в узкий круг партийного руководства, было ясно, что там идет какая-то борьба за власть, но ни суть поднятых вопросов, ни личность тех, кто подвергался обвинениям в правом уклоне, не были точно известны в течение многих месяцев. Правые из Политбюро не имели возможности заручиться широкой поддержкой в партии, а их платформа становилась известной лишь

в искаженном пересказе их противников и посредством случайных намеков и иносказаний, исходивших от самих правых.

Главными оплотами правых являлись московская партийная организация во главе с Углановым и Всесоюзный центральный совет профсоюзов (ВЦСПС), возглавляемый правым членом Политбюро Михаилом Томским. Первая пала жертвой сталинистов осенью 1928 г. и впоследствии подверглась тщательной чистке, которой руководил старый соратник Сталина Вячеслав Молотов. Вторым оплот был взят несколько месяцев спустя: в этом случае особо отличился восходящий сподвижник Сталина Лазарь Каганович, который был всего лишь кандидатом в члены Политбюро, но уже получил известность за свою жесткость и политическую ловкость, проявленные им во время его предыдущего назначения в украинскую партийную организацию, известную как постоянный источник беспокойства. Правые из Политбюро, изолированные и загнанные в угол, в начале 1929 г. были наконец названы по имени и подверглись осуждению. Томский утратил контроль над профсоюзами, а Бухарин лишился своих должностей в Коминтерне и в редколлегии «Правды». Рыков — старейший из правых членов Политбюро, более осторожный и прагматичный политик, чем Бухарин, но в то же время, возможно, имевший в партийном руководстве более прочные позиции, заставлявшие с ним считаться, — после разгрома правых еще почти два года возглавлял советское правительство, но в итоге был заменен Молотовым в конце 1930 г.⁹

Реальное влияние правых в партии и в управленческой элите оценить трудно, с учетом отсут-

9. См.: Fitzpatrick, *On Stalin's Team*, 55–57.

ствия открытого противостояния или организованной фракции. Поскольку сразу же после поражения правых последовала активная чистка партии и государственного аппарата, может показаться, что правые пользовались значительной поддержкой (или имели репутацию обладателей такой поддержки)¹⁰. Однако должностные лица, смещенные за правый уклон, не обязательно разделяли идеологию правой оппозиции. Осуждению за «правый уклон» в равной мере подвергались и идеологические раскольники, и косные бюрократы, — то есть должностные лица, сочтенные слишком некомпетентными, безынициативными и развращенными для того, чтобы стать исполнителями агрессивной сталинской политики — «революции сверху». Обе эти категории, очевидно, не совпадали друг с другом: общий ярлык просто представлял собой один из способов, применявшихся сталинистами для дискредитации сторонников правой идеологии.

Подобно предыдущим оппозициям, выступавшим против Сталина, правые были разгромлены партийной машиной, контролировавшейся Сталиным. Но в противоположность прежним эпизодам борьбы за власть, на этот раз речь шла в том числе и об ответе на четко обозначенные принципиальные и политические вопросы. Поскольку голосования по этим вопросам не проводилось, мы можем только догадываться о настроениях в партии в целом. Платформа правых была в меньшей степени чревата социальными и политическими потрясениями и не требовала от партийных кадров изменять принципам и направлению нэпа. Но с точки зрения дебета правые не обещали таких

10. См.: Стивен Козн, *Бухарин: политическая биография, 1888–1938* (Москва, 1988), гл. 9.

значительных достижений, какие обещал Сталин, а партия в конце 1920-х гг. стремилась к достижениям, не имея наших ретроспективных знаний о том, во что они обойдутся. В конце концов, умеренная, осторожная и не слишком многообещающая программа правых предлагалась ими воинствующей революционной партии, ощущавшей угрозу со стороны многочисленных внешних и внутренних врагов и по-прежнему уверенной в том, что она может и должна преобразовать общество. В 1921 г. Ленин заручился поддержкой подобной программы. Но у правых в 1928–1929 гг. не было Ленина, который бы стал их вождем; кроме того, нэп как политика отступления в то время (в отличие от 1921 г.) уже не могла быть оправдана ссылкой на неизбежность полного экономического коллапса и народного восстания.

Если вожди правых не пытались оглашать свою платформу или требовать широкой партийной дискуссии по затрагиваемым в ней вопросам, то у них, возможно, имелись на это серьезные причины, выходящие за рамки выражавшейся ими заботы о единстве партии. Платформа правых была рациональной и даже, может быть (как утверждали они сами), ленинской, но эта платформа не слишком годилась для того, чтобы вести за нее кампанию в рамках Коммунистической партии. В политическом плане правые столкнулись примерно с такими же проблемами, которые встали бы, например, перед лидерами британских консерваторов, решившими сделать крупные уступки профсоюзам, или перед американскими республиканцами, если бы те планировали расширить полномочия федерального центра и усилить государственный контроль над бизнесом. Подобная политика по прагматическим причинам может пользоваться поддержкой

на закрытых совещаниях в правительстве (на что надеялись и что сделали своей основной стратегией правые в 1928 г.). Но ее нельзя назвать удачным лозунгом для сплочения единомышленников.

В то время как правые, по примеру предыдущих оппозиций, тоже выступали за углубление партийной демократии, этот призыв имел сомнительную ценность с точки зрения приобретения сторонников из числа партийцев. Местные партийные функционеры заявляли, что он подрывает их авторитет. В ходе одной особенно острой перепалки на Урале Рыкову заявили, что правые намерены бить «по секретарскому составу»¹¹, — то есть возлагать на местных партийных секретарей вину за все неудачи, а в придачу к этому добиваться их снятия под тем предлогом, что они не были должным образом избраны. С точки зрения провинциального функционера среднего уровня, правые были не демократами, а людьми из элиты, возможно, слишком долго проработавшими в Москве и утратившими контакт с рядовыми партияцами.

Курс на индустриализацию

Сталин, как и виднейший модернизатор предреволюционной России граф Витте, видел в ускоренном развитии тяжелой промышленности залог величия страны и ее военной мощи. «В прошлом, — утверждал Сталин в феврале 1931 г., —

11. Это заявил секретарь Уральской партийной организации Иван Кабаков в ответ на запоздалую «правоуклонистскую» речь, с которой Рыков выступил в Свердловске летом 1930 г.: *X Уральская конференция Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)* (Свердловск, 1930), Бюлл. 6, 14.

у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, — у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства.

И это требовалось сделать абсолютно безотлагательно, так как от темпов индустриализации СССР зависело, уцелеет ли социалистическое отечество или же будет повержено врагами:

Задерживать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки, били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут¹².

После принятия в 1929 г. Первого пятилетнего плана индустриализация стала важнейшим приоритетом советского режима. Учреждение, осуществлявшее индустриализацию, Наркомат тяжелой промышленности (преемник ВСНХ), с 1930 по 1937 г. возглавлял Серго Орджоникидзе, один из наиболее влиятельных и энергичных членов сталинского руководства. В основе Первого пятилетнего

12. И. В. Сталин, «О задачах хозяйственников. 4.02.1931», в И. В. Сталин. *Сочинения*. Т. 13.

плана лежал рост производства угля и стали: максимальное увеличение объемов выработки на уже существующих металлургических заводах Украины и строительство с нуля таких новых огромных комбинатов, как Магнитогорск на Южном Урале. Высокий приоритет также имело строительство тракторных заводов — не только из-за непосредственных потребностей коллективизированного сельского хозяйства (еще более безотлагательных вследствие того, что крестьяне в ходе коллективизации в массовом порядке забивали тягловый скот), но и потому, что в будущем их было относительно легко переключить на выпуск танков. Быстро развивалась и машиностроительная промышленность с тем, чтобы избавить страну от импорта станков из-за границы. Текстильная промышленность отставала, несмотря на тот факт, что государство вкладывало в ее развитие значительные средства в годы нэпа, а сама она обладала многочисленной и опытной рабочей силой. Как якобы заявил Сталин, оружием Красной армии должны были стать не кожа и тряпки, а металл¹³.

Приоритетность металлургии была неразрывно связана с вопросами национальной безопасности и обороны, но, насколько касалось Сталина, ее значение, судя по всему, заключалось не только в этом. В конце концов, Сталин был революционером-большевиком, чей партийный псевдоним происходил от слова «сталь», и в начале 1930-х гг. культ производства стали и чугуна затмевал даже зарождавшийся культ Сталина. В годы Первой пятилетки в жертву металлу приносилось все. Более того, инвестиции в угольную промышленность, электро-

13. Это утверждение Сталина приводится в: *Пути индустриализации*. 1928. № 4. С. 64–65.

энергетику и железные дороги были настолько недостаточными, что нехватка топлива и электричества и аварии на транспорте нередко ставили под угрозу бесперебойную работу металлургических заводов. По мнению Глеба Кржижановского, старого большевика, до 1930 г. возглавлявшего Госплан, Сталин и Молотов были настолько одержимы выплавкой металла, что сплошь и рядом забывали о зависимости заводов от железных дорог, необходимых для поставок сырья, и от надежного снабжения топливом, водой и электричеством.

Тем не менее организация снабжения и распределения была, возможно, наиболее сложной из задач, которые взяло на себя государство при выполнении Первого пятилетнего плана. Десять лет назад, в период «Военного коммунизма», государство уже устанавливало (неудачно и временно) почти полный контроль над городской экономикой, распределением и торговлей; точно так же оно поступило и теперь, но на этот раз навсегда. Сворачивание частной промышленности и торговли началось в последние годы нэпа, и в 1928–1929 гг. этот процесс ускорился вместе с кампанией против нэпманов — сочетавшей их очернение в печати, меры юридического и финансового давления и многочисленные аресты частных предпринимателей за «спекуляцию». К началу 1930-х гг. даже кустари и мелкие торговцы были вынуждены свернуть свою деятельность или вступать в кооперативы, подконтрольные государству. Прежняя смешанная экономика нэпа быстро исчезала вместе с одновременной коллективизацией значительной части крестьянского сельского хозяйства.

В глазах большевиков принцип централизованного планирования и государственного контроля над экономикой имел большое значение, и приня-

тие Первого пятилетнего плана в 1929 г. служило важной вехой на пути к социализму. Несомненно, именно в те годы были заложены институциональные основы советской плановой экономики, хотя это был переходный, экспериментальный период, когда «плановый» компонент экономического роста не всегда являлся таковым в буквальном смысле слова. Первый пятилетний план был значительно слабее связан с реальным функционированием экономики, чем последующие пятилетние планы: по сути он представлял собой гибрид подлинного экономического планирования и политических лозунгов. Один из парадоксов того времени заключался в том, что в 1929–1931 гг., в разгар выполнения пятилетнего плана, государственные плановые учреждения были так безжалостно очищены от правых уклонистов, бывших меньшевиков и буржуазных экономистов, что едва ли могли вести какую-либо деятельность.

Первый пятилетний план и до, и после своего принятия в 1929 г. претерпел множество исправлений и пересмотров, причем соперничающие команды плановиков в разной степени реагировали на давление со стороны политиков¹⁴. В основном варианте, утвержденном в 1929 г., не была предусмотрена массовая коллективизация сельского хозяйства, крайне недооценивалась потребность промышленности в рабочей силе и не говорилось ничего определенного по таким вопросам, как кустарное производство и торговля, в отношении которых политика режима оставалась двусмысленной или не была сформулирована. План задавал производственные цели — хотя в таких ключевых

14. См.: E. H. Carr and R. W. Davies, *Foundations of a Planned Economy, 1926–1929* (London, 1969), i. 843–97.

отраслях, как металлургия, они неоднократно повышались уже после начала выполнения плана, — но давал лишь самые смутные указания на то, где брать ресурсы для повышения объемов производства. Ни последующие варианты плана, ни итоговое заявление о выполнении его целей не имели серьезной связи с реальностью. Даже название плана оказалось неточным, поскольку в итоге было решено выполнить Пятилетний план (или завершить его выполнение) уже на четвертом году пятилетки.

Промышленность призывали к «перевыполнению» плана вместо его дисциплинированного выполнения. Иными словами, задача этого плана состояла не в том, чтобы распределить ресурсы или в должной мере учесть потребности, а в том, чтобы любой ценой обеспечить экономический рост. Например, Сталинградский тракторный завод добился бы наибольших успехов в выполнении плана, если бы выпустил *больше* тракторов, чем было запланировано, даже если бы это повлекло за собой полное расстройство графиков его снабжения металлом, предметами электрооборудования и шинами. Приоритеты в области поставок определялись не самим планом, зафиксированным в документах, а рядом сиюминутных решений, принимавшихся Наркоматом тяжелой промышленности, государственным Советом труда и обороны и даже Политбюро партии. Официальный список наиболее приоритетных («ударных») предприятий и строек составлялся в условиях ожесточенной конкуренции, поскольку включение в него означало, что соответствующие поставщики были обязаны игнорировать все прежние договоренности и обязательства до тех пор, пока не будут выполнены заказы, имеющие наивысший приоритет.

Но в то же время приоритеты непрерывно менялись в ответ на кризисные ситуации, надвигающиеся катастрофы или очередное повышение планок в каком-либо из ключевых промышленных секторов. «Прорывы на фронте индустриализации», требующие срочной доставки свежей рабочей силы и материалов, обеспечивали элемент драматизма при освещении пятилетки в советской печати и, более того, в повседневной жизни советских промышленников. В годы Первой пятилетки успешным руководителем считался не дисциплинированный советский функционер, а пронырливый организатор, готовый идти на всякие уловки и пользоваться любой возможностью, чтобы обогнать соперников. Цель — выполнение и перевыполнение плана — была важнее, чем средства; бывали случаи, когда начальники заводов, не получив нужных поставок, силой захватывали товарные поезда и присваивали их грузы, отделяваясь не более чем протестом со стороны должностных лиц, отвечающих за транспорт.

Однако несмотря на упор на скорейший рост промышленного производства, реальной задачей Первого пятилетнего плана было строительство. Новые гигантские стройки — Нижегородский (Горьковский) автозавод, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, Днепровский (Запорожский) сталеплавильный завод и другие — в годы Первой пятилетки поглощали колоссальные ресурсы, но вышли на полную производственную мощность лишь после 1932 г., в годы Второй пятилетки (1933–1937 гг.). Это были инвестиции на будущее. Вследствие их масштабов принятые в годы Первой пятилетки решения о местоположении новых гигантов промышленности

фактически перекроили экономическую карту Советского Союза.

Вопрос инвестиций играл определенную роль во внутрипартийной политике еще в 1925 г., во время конфликта Сталина с зиновьевской оппозицией, когда сторонники Сталина позаботились о том, чтобы местные партийные вожди осознали те блага, которые сулят их регионам сталинские планы индустриализации. Но лишь в конце 1920-х гг., когда приближалось принятие окончательных решений в отношении Первого пятилетнего плана, большевикам окончательно открылся совершенно новый аспект политики — конкуренция регионов за капиталовложения. В 1929 г. на XVI партийной конференции ораторы сплошь и рядом забывали об идеологической борьбе с правыми вследствие крайней озабоченности более практическими вопросами; как сухо отмечал один старый большевик, «заканчивается речь всякого оратора [словами]: „Дайте завод на Урале, а правых к черту“»¹⁵.

Партийные организации Украины и Урала боролись за распределение инвестиций в горнорудные и металлургические комплексы и машиностроительные заводы; их соперничество — в которое были вовлечены такие крупные политики национального уровня, как Лазарь Каганович, бывший партийный секретарь на Украине, и Николай Шверник, возглавлявший уральскую партийную организацию до того, как стать во главе профсоюзов страны, — продолжалось на протяжении всех 1930-х гг. Активная конкуренция развернулась и вокруг вопроса о расположении конкретных заводов, строительство которых предусматривалось

15. Выступление Давида Рязанова: XVI конференция ВКП(б), апрель 1929 г. *Стенографический отчет* (Москва, 1962), 214.

Первым пятилетним планом. Полдюжины российских и украинских городов боролись за право строить тракторный завод, в итоге возведенный в Харькове. Предметом аналогичной баталии, бушевавшей еще с 1926 г. (возможно, первой в своем роде) служило место строительства Уральского машиностроительного завода (Уралмаша): Свердловск, которому оно в конце концов досталось, начал строительство с использованием местных средств и не получив санкции центра с тем, чтобы таким образом повлиять на окончательный выбор Москвы¹⁶.

Мощная конкуренция между регионами (например, между Украиной и Уралом) нередко влекла за собой двойную победу — решение о строительстве двух отдельных заводов, по одному в каждом регионе, в то время как первоначально планом предусматривалось строительство лишь одного завода. Это был один из факторов, вызвавших повышение планок и непрерывный рост затрат, характерных для Первой пятилетки. Но кроме него, действовали и другие факторы, так как московские политики и составители планов явно были одержимы «гигантоманией». Советский Союз объемами строительства и производства должен был превзойти все прочие страны мира. Его заводы должны были стать самыми новыми и большими в мире. Он должен был не только сравняться с Западом по уровню экономического развития, но и вырваться вперед.

16. О политике, окружавшей индустриализацию в годы Первой пятилетки, см.: Sheila Fitzpatrick, «Ordzhonikidze's Takeover of Vesenkha: A Case Study in Soviet Bureaucratic Politics», *Soviet Studies* 37: 2 (Apr., 1985). См. также работу на примере конкретного региона: James R. Harris, *The Great Urals. Regionalism and the Evolution of the Soviet system* (Ithaca, 1999), 38–104.

Но догнать и перегнать Запад, как неустанно указывал Сталин, было невозможно без современной техники. Несмотря на возражения многих специалистов, новые автомобильные и тракторные заводы строились в расчете на конвейерное производство, потому что легендарного капиталиста Форда нужно было побить на его собственном поле. На практике новые конвейеры в годы Первой пятилетки нередко бездействовали, в то время как рабочие традиционными методами кропотливо собирали трактор за трактором на цеховом стапеле. Но даже бездействующий конвейер играл свою роль. В содержательном плане он представлял собой часть инвестиций Первой пятилетки в будущее производство. В символическом же смысле конвейер, фигурировавший на снимках в советской печати и служивший предметом восхищения официальных и зарубежных посетителей, нес в себе сигнал, адресованный Сталиным советскому народу и всему миру: отсталая Россия вскоре станет «советской Америкой», осуществив великий прорыв в сфере экономического развития.

Коллективизация

Большевики всегда считали коллективизированное сельское хозяйство более предпочтительным по сравнению с мелким хозяйством крестьян-единоличников, но в годы нэпа предполагалось, что насаждение этой точки зрения среди крестьян будет долгим и трудным процессом. В 1928 г. на колхозы приходилось всего 1,2% всех посевных площадей, на совхозы — 1,5%, а оставшиеся 97,3% обрабатывались крестьянами-единолични-

ками¹⁷. Планы на Первую пятилетку не предполагали крупномасштабного перехода к коллективному сельскому хозяйству, тем более что режиму в грядущие пять лет предстояло решить сложнейшую задачу ускоренной индустриализации, и казалось, что у него уже не останется сил на фундаментальную реорганизацию сельского хозяйства.

Однако как понимал Сталин — и как несколькими годами ранее признавали в своей дискуссии и Преображенский, и Бухарин (см. выше, с. 148–149) — вопрос индустриализации был тесно связан с вопросом крестьянского сельского хозяйства. Для успешного осуществления индустриализации государство нуждалось в гарантированных поставках зерна и низких ценах на него. Хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. привлек внимание к тому факту, что крестьяне — или незначительное меньшинство относительно процветающих крестьян, поставлявших на рынок основную долю зерна, — были в состоянии «диктовать государству свои условия», пока существовал свободный рынок, а государственные цены на зерно по сути являлись договорными, как было принято в годы нэпа.

Еще в начале января 1928 г. Сталин дал понять, что он видит в кулаке, укрывающем зерно, главного виновника кризиса хлебозаготовок и считает, что коллективизация сельского хозяйства даст государству рычаг, требующийся ему для обеспечения достаточных поставок зерна в задаваемые им сроки и по его ценам. Однако поощрение добровольной коллективизации в 1928-м и первой половине 1929 г. дало весьма скромные результаты, а хлебозаготовки оставались острой проблемой, вызывая

17. Alec Nove, *An Economic History of the USSR* (London, 1969), 150.

озабоченность у режима не только из-за нехватки продовольствия в городах, но и из-за необходимости экспортировать зерно для покупки промышленного оборудования за рубежом. По мере того как все шире применялись принудительные меры обеспечения хлебозаготовок, предпочитаемые Сталиным, росла и враждебность в отношениях между режимом и крестьянством: несмотря на активные попытки дискредитировать кулаков и разжечь классовое противостояние в рядах крестьянства, единство деревни, судя по всему, в условиях внешнего давления скорее укреплялось, нежели ослабевало.

Летом 1929 г., в основном ликвидировав свободный рынок зерна, режим установил нормы хлебозаготовок с наказаниями за их невыполнение. Осенью нападки на кулаков усилились и вожди партии начали говорить о непреодолимом стремлении крестьян к массовой коллективизации. Несомненно, в этих словах отражалось их ощущение, что конфронтация с крестьянством зашла уже слишком далеко и отступать нельзя, поскольку лишь немногие способны обманываться, думая, что этот процесс можно завершить без ожесточенной борьбы. По словам Юрия Пятакова, бывшего троцкиста, который стал восторженным сторонником Первого пятилетнего плана,

...нет... разрешения проблемы сельского хозяйства в рамках индивидуального хозяйства, и потому мы *обязаны брать предельные темпы коллективизации сельского хозяйства...* В нашей работе мы должны принять *темпы гражданской войны*. Я говорю, разумеется, не в том смысле, что мы должны принять методы гражданской войны, а в том, что каждый из нас... должен обязательно работать с таким напряжением, с каким мы работали во время вооруженной борьбы с нашим классовым

врагом. *Наступил героический период нашего социалистического строительства*¹⁸.

К концу 1929 г. партия приняла решение о сплошной коллективизации крестьянского сельского хозяйства. Однако кулаки, классовые враги советского режима, не допускались в новые коллективные хозяйства. Как в декабре заявил Сталин, с эксплуататорскими наклонностями кулаков отныне нельзя было мириться. Кулаков следовало «ликвидировать как класс».

Зима 1929–1930 гг. стала неистовым временем, когда царившие в партии апокалиптические настроения и яростная революционная риторика в самом деле напоминали прежний «героический период» — 1920 год с его отчаянным обострением Гражданской войны и военным коммунизмом. Но в 1930 г. коммунисты принесли в деревню не только риторическую революцию и не просто изымали в селах продовольствие и уходили, как во время Гражданской войны. Коллективизация представляла собой попытку реорганизовать крестьянскую жизнь и в то же время создать административную структуру, которая бы охватывала и деревенский уровень. Судя по всему, многим коммунистам в провинции было не вполне ясно, реорганизацию какого рода им следовало проводить, поскольку поступавшие из центра приказы были свирепыми и в то же время неконкретными. Однако не оставляло сомнений, что одной из задач является установление контроля над деревней и что в качестве метода реорганизации избрана агрессивная конфронтация.

18. *Торгово-промышленная газета*. 5.10.1929.

В практическом плане новая политика требовала от сельских должностных лиц немедленно покончить с кулаками. Соответственно, коммунисты являлись в села, собирали небольшие отряды бедных или алчных крестьян и начинали запугивать горстку «кулацких» семей (обычно речь шла о самых богатых крестьянах, но иногда это были просто крестьяне, непопулярные в деревне или не угодившие местным властям по какой-либо иной причине), выгонять их из домов и захватывать их имущество.

В то же время предполагалось, что местные должностные лица будут поощрять добровольное объединение остальных крестьян в коллективы — и тональность инструкций, издававшихся центром зимой 1929—1930 гг., давала понять, что это «добровольное» движение должно дать быстрые и впечатляющие результаты. На практике это обычно означало, что должностные лица созывали крестьян на собрание, объявляли об организации колхоза и увещевали и запугивали крестьян до тех пор, пока не набиралось достаточное количество готовых расписаться о добровольном вступлении в колхоз. После того как это было сделано, организаторы нового колхоза обычно пытались отобрать у крестьян их скот — главное движимое имущество на селе — и объявить его коллективной собственностью. Вдобавок к этому коммунисты (особенно комсомольцы) часто старались осквернять церкви и подвергали оскорблениям таких местных «классовых врагов», как священники и школьные учителя.

Эти действия немедленно вызвали на селе хаос и возмущение. Вместо того чтобы расстаться со своим скотом, многие крестьяне забивали его на месте или спешили продать его в ближайшем городе. Некоторые кулаки, подвергшиеся экспро-

приации, бежали в города, но другие днем скрывались в лесах, а ночью возвращались в деревню и терроризировали ее. Причитающие крестьянки, нередко вместе со священником, выкрикивали проклятья в адрес коллективизаторов. Должностных лиц порой избивали или забрасывали камнями, а при въезде в деревню или выезде из нее они могли нарваться на выстрелы из кустов. Многие новоиспеченные колхозники поспешно покидали деревни, стремясь найти работу в городах или на новых стройках.

Режим реагировал на эту явную катастрофу двумя способами. Во-первых, подвергшиеся экспроприации кулаки и прочие смутьяны арестовывались ОГПУ, которое впоследствии организовало массовые депортации в Сибирь, на Урал и на север. Во-вторых, к моменту весеннего сева партийное руководство попыталось снизить накал конфронтации с крестьянством. В марте Сталин выступил со знаменитой статьей «Головокружение от успехов», в которой обвинял местные власти в превышении полномочий и приказывал вернуть большую часть коллективизированного скота (исключая кулацкий) его прежним хозяевам¹⁹. Воспользовавшись моментом, крестьяне спешили вычеркнуть свои имена из списков колхозников, вследствие чего доля крестьянских домохозяйств, официально вступивших в колхозы, на 1 марта 1930 г. составлявшая по всему СССР более половины, к 1 июня того же года уже не превышала четверти.

Некоторые коллективизаторы-коммунисты, считая статью «Головокружение от успехов» предательской и унижительной, якобы переворачивали

19. И. В. Сталин, «Головокружение от успехов, 2.03.1930», в И. В. Сталин. *Сочинения*. Т. 12.

портреты Сталина лицом к стене и предавались меланхолическим мыслям. Тем не менее крах коллективизации носил лишь временный характер. На работу в селе в качестве организаторов и председателей колхозов были срочно мобилизованы десятки тысяч коммунистов и городских рабочих (включая известный отряд «двадцатипяти тысячников», главным образом набранный на крупных заводах Москвы, Ленинграда и Украины). Крестьян упорно уговаривали или принуждали снова вступить в колхоз, но на этот раз от них не требовали сдавать в него своих коров и кур. Согласно официальной советской статистике, к 1932 г. было коллективизировано 62% крестьянских домохозяйств. К 1937 г. эта цифра выросла до 93%²⁰.

Коллективизация, несомненно, являлась настоящей «революцией сверху» на селе. Но это была не вполне такая революция, какой ее описывала советская печать того времени, сильно преувеличивавшая размах происходивших изменений; кроме того, в некоторых отношениях она в реальности сопровождалась менее радикальной реорганизацией крестьянской жизни, чем та, которую предполагали предпринятые в предреволюционной России столыпинские реформы (см. выше, с. 76). Согласно картине, рисовавшейся в советской печати, колхоз своими размерами намного превышал старую деревню, а на смену прежним методам ведения сельского хозяйства в нем шла механизация и использование тракторов. На самом же деле тракторы в начале 1930-х гг. существовали главным образом в воображении, а активно рекламировавшиеся

20. По данным из: Nove, *Economic History of the USSR*, 197, 238. О «двадцатипяти тысячниках» см.: Lynne Viola, *The Best Sons of the Fatherland* (New York, 1987).

«колхозы-гиганты» 1930–1931 гг. быстро развалились или просто были ликвидированы по приказанию начальства так же, как появились на свет. Типичный колхоз представлял собой ту же самую деревню, населенную теми же крестьянами (хотя их число несколько сократилось в результате миграций и депортаций, а еще сильнее сократилось поголовье тяглового скота), жившими в тех же избах и трудившимися в тех же полях, что и прежде. Главным, что изменилось в деревне, была организация трудового процесса и сбыта продукции.

Сельские общины были распущены в 1930 г., а во главе занявшей их место колхозной администрации стоял назначенный председатель (в первые годы ими обычно были рабочие или коммунисты из города). Традиционные вожаки крестьян в деревне/колхозе были запуганы, а иногда и устранены при депортации кулаков. По данным русского историка В. П. Данилова, в 1930–1931 гг. было раскулачено и депортировано 381 тыс. крестьянских домохозяйств — не менее 1,5 млн человек, — не считая тех, кого постигла аналогичная участь в 1932 г. и в первые месяцы 1933 г.²¹ (Более половины депортированных кулаков было направлено на работу в промышленности и на стройках; и хотя большинство из них находилось на свободе, а не в заключении, в течение нескольких лет им все равно запрещалось покидать тот регион, в который они были сосланы, и возвращаться в свои родные деревни).

Колхозы были обязаны сдавать государству определенное количество зерна и технических культур, причем оплата за поставки распределялась между колхозниками в соответствии с их тру-

21. *Slavic Review*, 50: 1 (1991), 152.

довым вкладом. На рынке разрешалось продавать лишь продукцию с мелких личных крестьянских наделов, и эта уступка была формализована только через несколько лет после завершения основной волны коллективизации. Обязательства колхозов по поставкам продукции были очень высокими — до 40% всего урожая, что было в два-три раза выше доли урожая, прежде сбывавшейся крестьянами на рынке, — а закупочные цены были низкими. Крестьяне использовали весь свой репертуар пассивного сопротивления и уловок, но режим был неумолим и отбирал все, что мог найти, включая запасы для личного потребления и посевное зерно. В итоге главные хлебопроизводящие регионы страны — Украина, Средняя Волга, Казахстан и Северный Кавказ — зимой 1932–1933 гг. были охвачены голодом. Он оставил после себя чрезвычайно горькое наследие: согласно слухам, ходившим на Средней Волге, крестьяне воспринимали голод как наказание, которому власть специально подвергла их по причине их сопротивления коллективизации. Согласно недавним подсчетам на основе советских данных, число погибших от голода в 1933 г. составляло 3–4 млн человек²².

Одним из непосредственных последствий голода было восстановление в 1932 г. системы внутренних паспортов, автоматически выдававшихся городским жителям, но не сельским: на протяжении кризиса государство делало все, чтобы не пустить голодающих крестьян в города, где они искали кров и пропитание. Это, несомненно, лишь укрепило убеждение крестьян в том, что коллек-

22. См. обсуждение статистических данных в: Роберт Дэвис и Стивен Уиткрофт, *Годы голода сельского хозяйства СССР, 1931–1934* (Москва, 2011), гл. 13, часть II–III.

тивизация — второе крепостное право, и оставило у некоторых западных наблюдателей впечатление, что коллективизация проводилась в том числе и с целью привязать крестьян к земле. У режима не было такого намерения (за исключением особых обстоятельств, порожденных голодом), поскольку его главной задачей в 1930-е гг. оставалась ускоренная индустриализация, невозможная без быстрого роста городской рабочей силы. Уже давно было признано, что сельская Россия страдает от перенаселения, и советские вожди ожидали, что коллективизация и механизация приведут к рационализации сельскохозяйственного производства и тем самым еще больше снизят численность рабочих рук, необходимых в сельском хозяйстве. В функциональном плане взаимосвязь между коллективизацией и индустриализацией СССР имела много общего со связью между огораживанием и промышленной революцией, проходившими в Великобритании более чем столетием ранее.

Разумеется, советские вожди не горели желанием проводить такую аналогию: в конце концов, Маркс отмечал страдания, вызванные огораживанием и сгоном крестьян с земли в Великобритании, несмотря на то, что тот же процесс спасал крестьян от «идиотизма деревенской жизни» и в долгосрочном плане выводил их на более высокий уровень социального существования, превращая их в городских пролетариев. Не исключено, что советские коммунисты испытывали такое же неоднозначное отношение к коллективизации и к соответствующим крестьянским миграциям, представлявшим собой поразительное сочетание добровольного переселения в города с их новыми рабочими местами в промышленности, бегства из колхозов и насильственных депортаций. Но в то же время они явно

чувствовали смущение и необходимость оправдаться за бедствия, связанные с коллективизацией, и пытались скрыть эту тему за дымовой завесой из уверток, неправдоподобных допущений и ложного оптимизма. Так, в 1931 г., когда в города навсегда переселилось два с половиной миллиона крестьян, Сталин сделал невероятное заявление о том, что крестьяне уже не ощущают традиционного желания к бегству от тягот деревенской жизни — таким привлекательным оказался для них колхоз²³. Но эта была лишь преамбула к главной идее — о том, что на смену спонтанному и непредсказуемому отъезду крестьян из села должен прийти организованный набор рабочей силы в колхозах.

За 1928–1932 гг. городское население Советского Союза выросло почти на 12 млн человек и почти 10 млн человек перешло из сферы крестьянского сельского хозяйства в сферу наемного труда²⁴. Это были громадные цифры, свидетельствующие о демографическом перевороте, беспрецедентном не только для России: утверждалось, что ничего подобного не происходило ни в одной стране за столь короткий срок. Непропорционально большую долю среди мигрантов занимали молодые и трудоспособные крестьяне, и это, несомненно, внесло свой вклад в последующую слабость колхозного хозяйства и деморализацию крестьянства.

23. И. В. Сталин, «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства. 23.06.1931», в И. В. Сталин, *Сочинения*. Т. 8.

24. См.: Sheila Fitzpatrick, «The Great Departure: Rural-Urban Migration in the Soviet Union, 1929–1933», in William R. Rosenberg and Lewis H. Siegelbaum, eds., *Social Dimensions of Soviet Industrialization* (Bloomington, IN, 1993), 21–2; а также: Шейла Фицпатрик, *Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня* (Москва, 2011).

Но в то же время эта миграция являлась одним из аспектов динамичного процесса российской индустриализации. На трех крестьян, в годы Первой пятилетки вступивших в колхоз, приходился один, покинувший деревню, чтобы стать за ее пределами рабочим или служащим. Эта утечка рабочей силы была такой же неотъемлемой частью сталинской революции на селе, как и сама коллективизация.

Культурная революция

Главным занятием коммунистов в годы Первой пятилетки, как и во время Гражданской войны, служила борьба с классовыми врагами. В ходе кампании по коллективизации села усилия коммунистов были направлены на «ликвидацию кулака как класса». При реорганизации городской экономики классовыми врагами, подлежащими ликвидации, были частные предприниматели (нэпманы). В те же годы международное коммунистическое движение взяло на вооружение новую воинственную политику «класс против класса». Такая политика — включавшая отказ от более примиренческого подхода, господствовавшего в годы нэпа, — имела аналог и в культурной и интеллектуальной сфере, где классовым врагом являлась буржуазная интеллигенция. Борьба со старой интеллигенцией, буржуазными культурными ценностями, элитарностью, привилегиями и бюрократизмом представляла собой феномен, известный современникам как «культурная революция»²⁵. За-

25. Дальнейшее изложение основывается на: Sheila Fitzpatrick (ed.), *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931* (Bloomington, Ind., 1978).

дача культурной революции состояла в установлении коммунистической и пролетарской «гегемонии», что на практике означало и партийный контроль над культурной жизнью, и внедрение в управленческую и профессиональную элиту новой когорты молодых коммунистов и рабочих.

Культурная революция была инициирована партийным руководством — или, точнее, сталинской фракцией в руководстве, — весной 1928 г., когда объявление о предстоящем Шахтинском процессе (см. выше, с. 223) было дополнено призывом к коммунистической бдительности в культурной сфере, переоценке роли буржуазных специалистов и пресечению претензий старой интеллигенции на культурное превосходство и лидерство. Эта кампания была тесно связана с борьбой Сталина против правых. Правых уклонистов выставляли защитниками буржуазной интеллигенции, чрезмерно полагавшимися на советы беспартийных специалистов, слепыми к влиянию специалистов и бывших царских чиновников на управленческие структуры и склонными к заражению «гнилым либерализмом» и буржуазными ценностями. Предполагалось, что они отдадут предпочтение бюрократическим методам перед революционными и ставят государственный аппарат выше партии. Более того, в них видели возможных европеизированных интеллектуалов, утративших контакт с пролетарскими низами партии.

Но культурная революция не сводилась к одним лишь фракционным боям в руководстве. Борьба с буржуазным культурным засильем имела большую привлекательность в глазах коммунистической молодежи, как и ряда воинствующих коммунистических организаций, чьи устремления в годы нэпа тормозились партийным руко-

водством, и даже некоторых групп некоммунистических интеллектуалов в различных сферах, противостоявших соответствующему профессиональному истеблишменту. Такие группировки, как Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и Союз воинствующих безбожников, на протяжении всех 1920-х гг. агитировали за более агрессивную политику культурного противостояния. Молодым ученым из Коммунистической академии и Института красной профессуры не терпелось померяться силами со своими заслуженными старшими коллегами, по большей части некоммунистами, которые по-прежнему задавали тон во многих научных дисциплинах. ЦК Комсомола и его секретариат, всегда склонявшиеся к революционному «авангардизму» и стремившиеся играть более заметную политическую роль, уже давно подозревали различные институты, с которыми у Комсомола существовали политические разногласия, в бюрократическом перерождении. Культурная революция давала радикальной молодежи возможность взять реванш и, как выразился один автор, найти выход переполнявшей ее энергии.

С этой точки зрения культурная революция представляла собой иконоборческое и воинственное молодежное движение, активисты которого, как и хунвэйбины, заявившие о себе во время китайской «культурной революции» 1960-х гг., ни в коем случае не были послушным орудием в руках партийного руководства. Они были в высшей степени партийными людьми, утверждавшими принадлежавшее им как коммунистам право вести за собой других и навязывать им свою волю, но в то же время питали инстинктивную враждебность к большинству существовавших ор-

ганов власти и институтов, подозревая их в бюрократизме и в «объективно контрреволюционных» тенденциях. Они обладали пролетарским самосознанием (хотя большинство активистов как по своему социальному происхождению, так и по занятиям принадлежали к служащим) и презирали буржуазию — особенно респектабельных «обывателей» среднего возраста. Революционным пробным камнем и источником большей части их риторических образов для них служила Гражданская война. Будучи заклятыми врагами капитализма, они тем не менее зачастую восхищались Америкой вследствие передового характера и размаха ее капиталистического строя. Колоссальной притягательностью для них обладали радикальные новшества в любой сфере.

Поскольку многие инициативы, предпринятые во имя культурной революции, носили спонтанный характер, они дали ряд неожиданных результатов. Воинствующие безбожники в разгар коллективизации вели в селах антирелигиозную кампанию, подтверждая подозрения крестьян о том, что колхозы — дело рук Антихриста. Набеги комсомольской «легкой кавалерии» препятствовали работе государственных учреждений, а комсомольская «Культармия» (созданная в первую очередь ради борьбы с неграмотностью) почти преуспела в ликвидации местных отделов образования — что, конечно же, не являлось целью партийного руководства, — на основании того, что они были заражены бюрократизмом.

Молодые энтузиасты свистом и шиканьем срывали исполнение «буржуазных» пьес в государственных театрах. В области литературы воинствующие РАППовцы организовали кампанию против уважаемого (хотя и не вполне пролетар-

ского) писателя Максима Горького как раз в тот момент, когда Сталин и другие вожди партии пытались убедить его вернуться из итальянской эмиграции. Радикалы следовали своим путем даже в сфере политической теории. Подобно многим восторженным коммунистам в годы Гражданской войны, они верили в неизбежность перемен апокалиптического характера: государство отомрет, а вместе с ним прикажут долго жить такие знакомые институты, так право и школа. В середине 1930 г. Сталин весьма четко дал понять, что такие ожидания ошибочны. Но его заявление практически игнорировалось до тех пор, пока партийное руководство спустя год с лишним не предприняло серьезную попытку призвать к дисциплине активистов культурной революции и положить конец их «фантазерству».

В таких сферах, как общественные науки и философия, Сталин и партийное руководство порой использовали молодых энтузиастов культурной революции для дискредитации теорий, ассоциировавшихся с Троцким или Бухариным, нападок на бывших меньшевиков или подчинения респектабельных «буржуазных» культурных институтов партийному контролю. Но этот аспект культурной революции сосуществовал с недолгим расцветом визионерского утопизма, далекого от мира практической политики и фракционных интриг. Эти визионеры — нередко аутсайдеры в своей профессиональной сфере, выдвигавшие идеи, прежде казавшиеся эксцентричными и нереализуемыми, — были поглощены планами новых «социалистических городов», проектами жизни в коммунах, размышлениями о преобразовании природы и образом «нового советского человека». Они всерьез воспринимали лозунг Первой пятилетки «Мы

наш, мы новый мир построим», и на протяжении нескольких лет в конце 1920-х и начале 1930-х гг. их идеи тоже воспринимались всерьез, приобретая широкую известность и во многих случаях получая значительную финансовую поддержку со стороны различных государственных учреждений и прочих официальных органов.

Хотя культурная революция описывалась как революция пролетарская, это не следует понимать буквально в сфере высокой культуры и науки. Например, в литературе молодые активисты РАППа использовали термин «пролетарский» как синоним слова «коммунистический»; говоря об установлении «пролетарской гегемонии», они выражали свое желание главенствовать на литературном поле и получить признание в качестве единственных полномочных представителей Коммунистической партии среди литературных организаций. Вообще говоря, РАППовцы не были безусловно циничны в своем стремлении выступать от имени пролетариата, так как они всячески поощряли культурную работу на предприятиях и налаживали каналы связи между профессиональными писателями и рабочим классом. Но все это происходило преимущественно в духе «хождения в народ» 1870-х гг. (см. выше, с. 56). Лидеры РАППа из числа интеллигенции были скорее за пролетариат, чем из пролетариата.

Пролетарский аспект культурной революции получал серьезное содержание в связи с политикой «пролетарского выдвижения» (советской программой «позитивной дискриминации» в пользу рабочих и крестьян), энергично осуществлявшейся режимом в те годы. Как заявил Сталин по поводу Шахтинского дела, предательство буржуазной интеллигенции сделало необходимым ее скорейшую

замену кадрами пролетарского происхождения. От старой дихотомии «красные — специалисты» следовало отказаться. Настало время для того, чтобы советский режим обзавелся своей собственной интеллигенцией (под этим термином Сталин понимал и административную элиту, и специалистов), причем источником этой новой интеллигенции должны были стать низы общества, и в первую очередь городской пролетариат²⁶.

Политика «выдвижения» рабочих на административные должности и отправки молодых рабочих в вузы не содержала в себе ничего нового, но она никогда еще не проводилась в жизнь так лихорадочно и в таких масштабах, как в годы культурной революции. Огромное число рабочих было выдвинуто непосредственно в руководство предприятий, стало советскими или партийными функционерами или было назначено на смену «классовым врагам», вычищенным из центральных государственных и профсоюзных органов. Из 861 тыс. лиц, в конце 1933 г. составлявших в СССР слой «руководящих кадров и специалистов», более 140 тыс. — больше одного из шести — еще пять лет назад принадлежали к рабочим, занимавшимся физическим трудом. Но это была лишь верхушка айсберга. Общее число рабочих, в годы первой пятилетки перешедших в разряд служащих, вероятно, составляло не менее полутора миллиона человек.

26. Дальнейшее изложение основывается на: Fitzpatrick, «Stalin and the Making of a New Elite», in Fitzpatrick, *The Cultural Front*, и Fitzpatrick, *Education and Social Mobility*, 184–205. Отметим, что аналогичная политика осуществлялась и в отношении таких «отсталых» наций, как узбеки и башкиры. См. об этом: Мартин. *Империя положительной деятельности*. Особ. см. гл. 4.

В то же время Сталин инициировал активную кампанию по отправке молодых рабочих и коммунистов в вузы, что привело к серьезным потрясениям в университетах и техникумах, вызвало возмущение у «буржуазных» преподавателей и до завершения Первой пятилетки крайне затрудняло получение высшего образования выпускниками средних школ из семей служащих. В годы Первой пятилетки к обучению в вузах приступило около 150 тыс. рабочих и коммунистов — большинство из них училось на инженеров, поскольку наилучшей рекомендацией для занятия руководящих позиций в индустриализующемся обществе отныне считался технический опыт, а не осведомленность в марксистских общественных науках. Эта группа, в состав которой входили Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Алексей Косыгин и множество прочих будущих руководителей партии и правительства, стала ядром сталинской политической элиты после «Больших чисток» 1937–1938 гг.

В глазах членов этой привилегированной группы — «сыновей рабочего класса», как они предпочитали называть себя в последующие годы, — революция на деле выполнила свое обещание дать власть пролетариату и превратить рабочих в хозяев государства. Однако для других членов рабочего класса послужной список сталинской революции был намного более скромным. В годы Первой пятилетки у большинства рабочих резко упал уровень жизни и реальная заработная плата. После отстранения Троцкого профсоюзы были обузданы, лишившись реальных возможностей защищать интересы рабочих в ходе торга с руководством предприятий. После того как в промышленности хлынули выходцы из деревни (включая бывших кулаков), партийные вожди отчасти утра-

тили чувство особых отношений с рабочим классом и особых обязательств перед ним²⁷.

Период Первой пятилетки отличался грандиозными демографическими и социальными сдвигами. Свои села покинули миллионы крестьян, которых гнали прочь коллективизация, раскулачивание и голод или влекли новые рабочие места в городах. Но это был лишь один из многочисленных процессов, разрушавших устоявшийся образ жизни индивидуумов и семей. Городские домохозяйки пошли работать, поскольку одной зарплаты в семье уже не хватало; жен из деревень бросали мужья, исчезавшие в городах; дети, потерявшие родителей или брошенные ими, собирались в шайки беспризорников. Выпускники школ из «буржуазных» семей лишились возможности получить высшее образование, в то время как молодых рабочих, имевших за плечами всего семь лет школы, посылали учиться на инженеров. Подвергшиеся экспроприации нэпманы и кулаки бежали в города, чтобы начать новую жизнь там, где никто их не знает. Дети священников уходили из дома, чтобы не подвергаться остракизму вместе со своими родителями. По стране шли эшелоны с выселенными и осужденными, увозя их в незнакомые им и непривлекательные места. Квалифицированных рабочих «выдвигали» в управленцы или «мобилизовали» на такие отдаленные стройки, как Магнитогорск; коммунистов командировали в деревню возглавлять колхозы; конторских служащих увольняли в ходе «чистки» государственных учрежде-

27. Об изменении положения рабочих в годы Первой пятилетки см.: Hiroaki Kuromiya, *Stalin's Industrial Revolution* (Cambridge, 1988). О последующих процессах см.: Donald Filtzer, *Soviet Workers and Stalinist Industrialization* (New York, 1986).

ний. Общество, едва успевшее обустроиться после настигших его десять лет назад бедствий революции и мировой и гражданской войн, снова было безжалостно потрясено сталинской революцией.

Снижение уровня и качества жизни затронуло почти все классы населения, и в городе, и на селе. Сильнее всего пострадали крестьяне в результате коллективизации. Но и жизнь в городах стала почти невыносимой из-за карточной системы, очередей, хронической нехватки потребительских товаров, включая одежду и обувь, острого перенаселения, бесконечных неудобств, связанных с ликвидацией частной торговли, и деградации всех видов городских услуг. Городское население Советского Союза испытало резкий прирост — его численность выросла с 29 млн человек в начале 1929 г. до немногим менее 40 млн человек в начале 1933 г., что составляет рост на 38% за четыре года. Население Москвы, в конце 1926 г. составлявшее чуть более 2 млн человек, подскочило до 3,7 млн человек в начале 1933 г.; за тот же период население Свердловска (Екатеринбурга), промышленного города на Урале, выросло на 346%²⁸.

Изменения шли и в политической сфере, хотя здесь они были менее заметными и резкими. В конце 1929 г., в связи с празднованием 50-летия Сталина, всерьез начал насаждаться его культ. На партийных съездах и других крупных собраниях у коммунистов вошло в обычай встречать появление Сталина бурными аплодисментами. Однако Сталин, помня о примере Ленина, делал вид,

28. *Изменения социальной структуры советского общества, 1921 — середина 30-х годов* (Москва, 1979), 194; *Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник* (Москва, 1934), 356–357.

что порицает подобную восторженность; при этом формально он занимал все ту же должность — генерального секретаря партии.

Вожди правой оппозиции, помня о безжалостной расправе с левой оппозицией, вели себя осторожно, благодаря чему после своего поражения отделались легкими наказаниями. Но это была последняя открытая (или квазиоткрытая) оппозиция в партии. Запрет на фракции, формально существовавший с 1921 г., отныне строго воплощался в жизнь, вследствие чего потенциальные фракции автоматически приравнивались к заговорам. Открытые разногласия по политическим вопросам отныне стали редкостью на партийных съездах. Партийное руководство соблюдало в своей работе все большую секретность, и стенограммы заседаний ЦК обычно уже не распространялись среди рядовых партийцев, лишившихся к ним доступа. Вокруг вождей — и в первую очередь верховного Вождя — стала насаждаться атмосфера тайны и загадочности, придававшая им богоподобные черты²⁹.

Изменилась и советская печать, утратив своиственные ей в 1920-е гг. живость и информативность в отношении внутренних дел. На щит поднимались экономические достижения, что нередко сопровождалось вопиющим искажением реальности и манипуляциями со статистикой; отступления и неудачи игнорировались; в газетах было не найти упоминаний о голоде 1932–1933 гг. Обычным делом стали призывы к повышению производительности труда и бдительности в отношении

29. См. об этом процессе: Fitzpatrick, *On Stalin's Team*, 91–95. Отметим, что в 1930-е гг. «вождям» называли не одного лишь Сталина: его соратники по Политбюро тоже именовались в печати «вождями».

«вредителей»; легкомыслие пресекалось. В газетах уже было не найти составленной в западном стиле рекламы последних фильмов Мэри Пикфорд или заметок об уличных происшествиях, изнасилованиях и грабежах.

В годы Первой пятилетки резко сократились и стали намного более опасными контакты с Западом. Начало изоляции России от внешнего мира положила революция 1917 г., но в 1920-х гг. объемы перевозок и связи между СССР и другими странами были еще достаточно высоки. Интеллектуалы еще могли печататься за рубежом, советские люди еще могли выписывать западные журналы. Но заметным мотивом показательных процессов времен культурной революции стало недоверие к иностранцам, что отражало рост ксенофобии среди руководства страны, а также, несомненно, и населения в целом. Заявленная в Первом пятилетнем плане цель «экономической самодостаточности» подразумевала и отчуждение от внешнего мира. Именно тогда стали обыденностью закрытые границы, «менталитет осажденной крепости» и культурная изоляция, характерные для Советского Союза в сталинский (и послесталинский период)³⁰.

Как и во времена Петра Великого, государство усиливалось, а люди худели. Сталинская революция привела к установлению прямого государственного контроля над всей городской экономикой и резко усилила возможности государства по эксплуатации крестьянского сельского хозяйства. Кроме того, резко укрепились полицейская власть и был создан ГУЛАГ — империя трудовых

30. Об изоляции СССР см.: Jerry F. Hough, *Russia and the West: Gorbachev and the Politics of Reform* (2nd edn.; New York, 1990), 44–66.

лагерей, активно участвовавшая в индустриализации (в первую очередь как поставщик подневольной рабочей силы в тех регионах, где ощущалась нехватка вольнонаемного труда) и стремительно расширявшаяся в последующие десятилетия. Гонения на «классовых врагов» в ходе коллективизации и культурной революции оставили сложное наследие из ожесточенности, страха и подозрительности, а также поощрения таких практик, как доносы, чистки и «самокритика». В ходе сталинской революции были напряжены все нервы и задействованы все ресурсы. Оставалось выяснить, в какой степени была достигнута цель ликвидации российской отсталости.

Завершение революции

КРЕЙН БРИНТОН сравнивает революцию с лихорадкой, которая охватывает больного, достигает максимума и затем проходит, после чего больной возвращается к прежней жизни — «возможно, в некоторых отношениях лишь окрепший после этого испытания, хотя бы на какое-то время получивший иммунитет от аналогичных болезней, но, безусловно, не ставший совершенно новым человеком»¹. Прибегая к метафоре Бринтона, можно сказать, что Русская революция включала несколько последовательных приступов лихорадки. Первым приступом стали революции 1917 г. и Гражданская война, вторым приступом — «сталинская революция» в годы Первой пятилетки, и третьим — «Большие чистки». Согласно этой схеме, нэп представлял собой период выздоровления, за которым последовал рецидив болезни или, согласно иной точке зрения, новая атака вирусов на несчастного пациента. Второй период выздоровления начался в середине 1930-х гг., в период стабилизации, который Троцкий назвал «советским Термидором», а Тимашев — «великим отступлением»². После еще одного рецидива во время «Больших чисток» 1937–1938 гг. лихорадка как буд-

1. Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (rev. edn., New York, 1965), 17.

2. Троцкий Л. *Преданная революция* (Москва, 1991); Nicholas

то бы прошла и больной кое-как встал с кровати в попытке вернуться к нормальной жизни.

Но в самом ли деле больной был тем же человеком, что и до приступов революционной лихорадки? Имел ли он возможность вернуться к прежней жизни? «Выздоровление» в годы нэпа, несомненно, во многих отношениях означало восстановление той жизни, которая была прервана началом войны в 1914 г., революционными потрясениями 1917 г. и Гражданской войной. Но «выздоровление» 1930-х гг. носило иной характер, так как к тому времени многие связи со старой жизнью уже были разорваны. Речь в большей степени шла не о возобновлении старой жизни, а о начале новой.

Потрясения Первой пятилетки изменили структуры повседневной жизни в России совсем иным образом по сравнению с прежним революционным опытом 1917–1920 гг. Если бы в 1924 г., в период нэпа, москвич, вернувшийся в свой город после десяти лет отсутствия, открыл городскую адресную книгу (легко узнаваемую, потому что ее прежняя верстка и формат почти не изменились с довоенных лет), то он с большой вероятностью нашел бы в ней адреса своих прежних врача, адвоката и даже биржевого маклера, своего любимого кондитера (по-прежнему втихомолку рекламирующего лучший импортный шоколад), местного трактира и приходского священника, а также фирм, прежде чинивших ему часы и поставлявших ему строительные материалы или кассовые аппараты. Десять лет спустя, в середине 1930-х гг., почти ничего из этого в адресной книге уже не осталось бы, и вдобавок вернувшийся путешественник был бы

S. Timasheff, *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia* (New York, 1946).

дополнительно дезориентирован переименованием многих московских улиц и площадей и уничтожением церквей и других знакомых примет. Пройдет еще несколько лет — и исчезнет уже сама адресная книга, которую снова начнут издавать лишь полвека спустя.

Поскольку все революции сопряжены с аномально высокой концентрацией человеческой энергии, идеализма и возмущения, само собой разумеется, что их размах в какой-то момент начинает идти на убыль. Но каким образом завершить революцию, не отрекаясь от нее? Это непростая задача для революционеров, находившихся у власти достаточно долго для того, чтобы увидеть, как революционный импульс идет на убыль. Бывший революционер едва ли последует метафоре Бринтона и объявит себя выздоровевшим от революционной лихорадки. Но Сталин оказался вполне на высоте вставшего перед ним вызова. Он завершил революцию, объявив о ее победе.

Риторика победы витала в воздухе на протяжении всей первой половины 1930-х гг. Воплощением этих настроений служил новый журнал «Наши достижения», основанный писателем Максимом Горьким. Сражения за индустриализацию и коллективизацию выиграны, — торжествовали советские пропагандисты. Классовые враги ликвидированы. С безработицей покончено. Начальное образование стало всеобщим и обязательным, грамотность в СССР среди взрослого населения выросла (как утверждалось) до 90%³. Выполнив свой

3. О заявлениях относительно уровня грамотности см.: Fitzpatrick, *Education and Social Mobility*, 168–76. Согласно засекреченным данным общенациональной переписи населения 1937 г., грамотными были 75% населения в возрасте

план, Советский Союз сделал гигантский шаг к покорению мира человеком: люди перестали быть беспомощными игрушками неподконтрольных им экономических сил. В ходе построения социализма возникал «новый советский человек». Изменения претерпевало даже физическое окружение по мере того, как в голых степях вырастали заводы, а советские ученые и инженеры приступили к «покорению природы».

Заявление о победе революции неявно подразумевало и завершение революции. Настало время пожинать плоды победы, если таковые имелись, или по крайней мере отдыхать от тяжелых испытаний революции. В середине 1930-х гг. Сталин говорил о том, что жить стало веселее, и обещал «праздник [и] на нашей улице». Официально вновь в чести оказались такие добродетели, как порядок, умеренность, предсказуемость и стабильность. В экономической сфере Второй пятилетний план (1933–1937 гг.) отличался большей трезвостью и реализмом, чем крайне амбициозный предшествующий план, хотя упор на строительство базы тяжелой индустрии остался прежним. На селе режим в рамках коллективизации делал примирительные жесты по адресу крестьянства, пытаясь наладить работу колхозов. Такой немарксистский автор, как Николас Тимашев, одобрительно описывал происходящее как «великое отступление» от революционных ценностей и методов. Троцкий же оценивал эти процессы отрицательно, называя их «советским Термидором», предательством революции.

от 9 до 49 лет (*Социологические исследования*. 1990. № 7, 65–66). Учет лиц, чей возраст превышал 50 лет, очевидно, привел бы к снижению этой цифры.

В этой, последней главе мы рассмотрим три аспекта перехода от революции к постреволюционному времени. В первой части будет изучена сущность революционной победы, провозглашенной режимом в 1930-х гг. («Революция свершилась»). Во второй части будут исследованы термидорианская политика и тенденции того же периода («Преданная революция»). Темой третьей части, «Террор», станут «Большие чистки» 1937–1938 гг. Она проливает новый свет на «возвращение к норме», которой посвящена вторая часть, и напоминает нам о том, что норма может быть почти столь же неуловимой, как и победа. Наряду с неискренностью, содержавшейся в заявлениях режима о победе революции, в значительной мере были фальшивыми и лживыми его утверждения о возвращении жизни к норме, как бы сильно население ни хотело им верить. Закончить революцию непросто. Революционный вирус продолжает жить в системе, в чрезвычайной ситуации готовый обернуться новым приступом болезни. Это и случилось во время «Больших чисток» — последнего приступа революционной лихорадки, в котором сгорело многое из того, что оставалось от революции: идеализм, стремление к преобразованиям, революционный лексикон и, наконец, сами революционеры.

«Революция свершилась»

XVII съезд партии, состоявшийся в начале 1934 г., был назван «съездом победителей». Их победа заключалась в экономических преобразованиях, состоявшихся в годы Первой пятилетки. Была полностью национализирована городская экономика, за исключением небольшого кооперативного сек-

тора, а сельское хозяйство подверглось коллективизации. Таким образом, революция преуспела в изменении способа производства; а как знает каждый марксист, способ производства — это экономический базис, на который опирается вся надстройка: общество, политика и культура. И теперь, когда в СССР существовал социалистический базис, могла ли надстройка не претерпеть соответствующих изменений? Изменив базис, коммунисты сделали все, что нужно было сделать — и, вероятно, все, что можно было сделать с точки зрения марксизма, — для создания социалистического общества. Все прочее было всего лишь делом времени. Социалистическая экономика должна была автоматически породить социализм так же, как капитализм породил буржуазную демократию.

Это была теоретическая формула. На практике же большинство коммунистов понимало задачу революции и ее победу более простым образом. Задачей революции являлась индустриализация и экономическая модернизация, нашедшие воплощение в Первом пятилетнем плане. Каждая новая заводская труба и каждый новый трактор были символом победы. Если революция сумела заложить основы мощного современного индустриального государства в Советском Союзе, получившем возможность защититься от внешних врагов, то значит, она выполнила свою задачу. Каковы же были достижения революции с этой точки зрения?

Зримые приметы советской индустриализации были заметны каждому. Повсюду велось строительство. В годы Первой пятилетки происходил стремительный рост городов: колоссально увеличились в размерах старые промышленные центры, строительство крупных заводов преобразовало тихие провинциальные города, по всему Советскому Сою-

зу возникали новые промышленные и горнорудные поселки. Строились или уже работали новые огромные металлургические и машиностроительные заводы. Были построены Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб) и Днепрогэс — гигантская гидроэлектростанция на Днепре⁴.

Об успешном завершении Первого пятилетнего плана было объявлено в 1932 г., через четыре с половиной года после начала его выполнения. К его официальным итогам, неустанно превозносившимся советской пропагандой внутри страны и за рубежом, следует относиться с большой осторожностью. Тем не менее западные экономисты в целом признают, что в экономике страны действительно наблюдался рост, представлявший собой то, что Уолт Ростоу назвал промышленным «взлетом». Оценивая итоги Первой пятилетки, британский историк экономики отмечал, что «хотя официальные заявления во всей своей полноте сомнительны, нет никаких сомнений в создании мощной машиностроительной отрасли и в действительно впечатляющем росте производства станков, турбин, тракторов, металлургического оборудования и т. п.». Хотя производство стали даже не приблизилось к намеченному уровню, оно все равно выросло (по советским данным) почти на 50%. Более чем удвоилась добыча железной руды, хотя планировался еще более высокий рост, а добыча антрацита и выплавка чугуна с 1927–1928 гг. до 1932 г. выросли почти вдвое⁵.

4. О Турксибе см.: Matthew J. Payne, *Stalin's Railroad: Turksib and the Building of Socialism* (Pittsburgh, 2001); о Днепрострое см.: Anne Rassweiler, *The Generation of Power: the History of Dneprostroi* (Oxford, 1988).

5. Alec Nove, *An Economic History of the USSR* (new edn.; London, 1992), 195–196.

Такой индустриальный рывок, со столь безжалостной целеустремленностью ставивший во главу угла скорость и объемы производства, неизбежно повлек за собой различные проблемы. Частым делом были несчастные случаи на производстве, крайне расточительно использовалось сырье, качество изготовления было низким, а доля дефектной продукции — высокой. Советская стратегия была очень затратной и в финансовом, и в человеческом плане, и не обязательно оптимальной даже с точки зрения темпов роста: согласно подсчетам одного западного экономиста, Советский Союз к середине 1930-х гг. мог бы добиться аналогичных темпов роста без какого-либо принципиального отступления от основ нэпа⁶. «Выполнение и перевыполнение плана» сплошь и рядом означало отказ от всякого рационального планирования и узкое сосредоточение усилий на достижении намеченных уровней выработки в нескольких высокоприоритетных секторах за счет всего остального. Пусть на новых заводах выпускались такие замечательные вещи, как тракторы и турбины, но на протяжении всей Первой пятилетки в стране наблюдалась отчаянная нехватка гвоздей и упаковочных материалов, а на всех отраслях промышленности негативно сказалось прекращение перевозок силами крестьян, являвшееся непредвиденным последствием коллективизации. Угольная индустрия Донбасса в 1932 г. находилась в кризисе, а в ряде других ключевых промышленных секторов суще-

6. Holland Hunter, «The Overambitious First Soviet Five-Year Plan», *Slavic Review*, 32: 2 (1973), 237–257. Более позитивную оценку см. в: Robert C. Allen, *Farm and Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution* (Princeton, 2003); Роберт Аллен, *От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции* (Москва, 2013).

ствоvalи острые строительные и производственные проблемы.

Несмотря на эти проблемы, советские вожди искренне верили в то, что в области промышленности они находятся на пути к действительно замечательным достижениям. Так считали практически все коммунисты, даже те, кто прежде симпатизировал левой или правой оппозиции; и то же самое чувство гордости и возбуждения было отчасти свойственно и младшему поколению, вне зависимости от его партийной принадлежности, а в некоторой мере и городскому населению в целом. Многие бывшие троцкисты покинули ряды оппозиции из-за восхищения Первым пятилетним планом, который в принципе одобрял даже Троцкий. Те коммунисты, которые в 1928–1929 гг. склонялись вправо, покаялись и отдали все свои силы индустриализации. В глазах многих бывших скептиков Магнитогорск, Сталинградский тракторный завод и прочие великие промышленные стройки перевешивали такие негативные аспекты сталинского курса, как суровые репрессии и эксцессы коллективизации.

Коллективизация была ахиллесовой пятой Первой пятилетки, хроническим источником кризисов, столкновений и импровизированных решений. Ее плюсом было то, что она дала необходимый государству механизм, позволявший заготавливать хлеб по низким, нерыночным ценам и в больших объемах, чем выставляли на продажу крестьяне. С другой стороны, коллективизация ожесточила крестьян и лишила их желания работать, вызвала массовый забой скота, привела к голоду 1932–1933 гг. (спровоцировавшему кризис по всей экономике и административной системе) и вынудила государство вкладывать намного больше средств

в аграрный сектор, чем предполагала изначальная стратегия «выжимания соков из крестьянства»⁷. В теории коллективизация могла означать самые разные вещи. На практике же коллективизация в СССР 1930-х гг. представляла собой крайнюю форму государственной экономической эксплуатации, в которой крестьянство вполне предсказуемо видело «второе крепостное право». Это оказывало деморализующее воздействие не только на крестьян, но и на коммунистические кадры, лично сталкивавшиеся с коллективизацией.

На самом деле коллективизация ни у кого не вызывала восторга; коммунисты считали ее выигранным сражением, но за счет очень больших потерь. Более того, колхоз, в итоге воплотившийся в жизнь, очень сильно отличался от колхоза из коммунистических фантазий или того, который изображался в советской пропаганде. Настоящий колхоз представлял собой небольшое примитивное хозяйство на основе деревни, в то время как в мечтах он представлялся образцом крупномасштабного, современного, механизированного сельского хозяйства. Реальному колхозу не хватало не только тракторов, переданных в местные машинно-тракторные станции; ему остро не хватало и традиционной тягловой силы из-за забоя лошадей во время коллективизации. В ходе коллективизации резко упал уровень жизни в деревне: во многих местах речь шла об элементарном выживании. Электричество стало в деревне еще большей редкостью, чем в 1920-е гг., из-за исчезновения мельников-«кулаков», прежде вырабатывавших электроэнер-

7. См.: James R. Millar, «What's Wrong with the „Standard Story“?», in James Millar and Alec Nove, «A Debate on Collectivization», *Problems of Communism*, July-Aug. 1976, 53-5.

гию на своих мельницах. К досаде многих сельских коммунистических функционеров, коллективизированное сельское хозяйство даже не было полностью социализированным, поскольку крестьянам были разрешены небольшие личные участки земли, хотя это и способствовало их уклонению от работы на коллективных полях. Как признал Сталин в 1935 г., личные наделы были необходимы для выживания крестьянской семьи, поскольку именно они давали деревне (и стране) большую часть молока, яиц и овощей. На протяжении почти всех 1930-х гг. большинство крестьян получало от колхоза в качестве платы за свой труд лишь небольшую долю урожая зерна⁸.

Что касается политических целей революции, то едва ли будет преувеличением сказать, что в напряженные месяцы 1931, 1932 и 1933 гг. само по себе выживание режима казалось многим коммунистам победой — а может быть, и чудом. Тем не менее это была не такая победа, которую стоило отмечать публично. Требовалось что-то еще — желательно связанное с социализмом. В начале 1930-х гг. стало модно говорить о «строительстве социализма» и «социалистических стройках». Но эти фразы, смысл которых так и не был точно определен, предполагали процесс, а не результат. В 1936 г., после принятия новой советской Конституции, Сталин заявил, что фаза «строительства» в основном закончена. Это означало, что социализм стал в СССР свершившимся фактом.

Теоретически это был серьезный скачок вперед. Сущность самого понятия «социализм» всегда оставалась достаточно смутной, но если исхо-

8. Более подробно о том, что реально представлял собой колхоз 1930-х гг., см.: Фицпатрик, *Сталинские крестьяне*, гл. 4–5.

дить из работы Ленина «Государство и революция» (написанной в сентябре 1917 г.), то социализм подразумевал местную («советскую») демократию, исчезновение классового антагонизма и классовой эксплуатации, а также отмирание государства. Последнее требование представляло собой камень преткновения, так как даже самые оптимистичные советские марксисты едва ли могли утверждать, что советское государство отмирает или начнет отмирать в ближайшем будущем. Решение было найдено в проведении нового, или прежде остававшегося малоизвестным, теоретического различия между социализмом и коммунизмом. Выяснилось, что государство отомрет лишь при *коммунизме*. Социализм же, не будучи окончательной целью революции, представлял собой лучшее, чего можно было достичь в мире антагонистических отношений между национальными государствами, в котором Советский Союз существовал в капиталистическом окружении. Государство должно было отмереть после мировой революции. До тех же пор ему следовало оставаться сильным и могучим, чтобы защитить единственное в мире социалистическое общество от его врагов.

Какими же были отличительные черты социализма, построенного в Советском Союзе? Ответ на этот вопрос давался в новой советской Конституции, первой после революционной Конституции РСФСР, принятой в 1918 г. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить, что согласно марксистско-ленинской теории революцию от социализма отделяет переходная фаза пролетарской диктатуры. Эта фаза, начавшаяся в России в октябре 1917 г., отличалась напряженной классовой войной, вызванной тем, что прежние имущие классы сопротивлялись пролетарскому государству, стремивше-

муся экспроприировать их и уничтожить. Именно прекращением классовой войны, — объяснял Сталин при принятии новой Конституции, — отмечен переход от диктатуры пролетариата к социализму.

Согласно новой Конституции, все советские граждане обладали равными правами и гарантированными гражданскими свободами, уместными при социализме. Теперь, когда были ликвидированы капиталистическая буржуазия и кулаки, кончилась и классовая война. В советском обществе все равно оставались классы — рабочий класс, крестьяне и интеллигенция (строго говоря, она определялась как прослойка, а не класс) — но отношения между ними были свободны от антагонизма и эксплуатации. Они были равны как по своему положению, так и в своей преданности социализму и советскому государству⁹.

Эти заявления на протяжении лет приводили в ярость многих несоветских комментаторов. Социалисты отрицали, что сталинская система является подлинным социализмом; прочие указывали, что обещанные в Конституции свобода и равенство — фикция. Можно спорить о размерах обмана и о том, в какой степени он был сознательным¹⁰, но все же такая реакция понятна, поскольку сталинская Конституция имела лишь

9. J. Stalin, *Stalin on the New Soviet Constitution* (New York, 1936). Текст Конституции, принятой 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР, см.: *Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик* (Москва, 1936).

10. См. утверждение о том, что режим искренне стремился демократизировать советские выборы, но не сумел этого сделать из-за социальной напряженности, связанной с «Большими чистками»: J. Arch Getty, «State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s», *Slavic Review*, 50: 1 (Spring 1991).

самую отдаленную связь с советской реальностью. Однако в контексте настоящей дискуссии к сталинской Конституции не следует относиться слишком серьезно: в том, что касается утверждений о победе революции, Конституция запоздала и не оказала заметного эмоционального влияния ни на Коммунистическую партию, ни на общество в целом. Большинство людей отнеслось к ней безразлично, некоторые недоумевали. Горьким ответом на известие о том, что в Советском Союзе уже построен социализм, стали слова молодого журналиста, искренне верившего в социалистическое будущее и знавшего, насколько бедной и жалкой была жизнь в его родной деревне. Значит, *это* и есть социализм? «Никогда — ни до, ни после — не переживал я такого разочарования, такого горя»¹¹.

Равные права, гарантированные новой Конституцией, представляли собой реальное новшество по сравнению с Конституцией РСФСР 1918 г. Конституция 1918 г. недвусмысленно исключала равноправие: члены прежних эксплуататорских классов были лишены права голоса на советских выборах, а голоса городских рабочих имели больший вес, чем голоса крестьян. С этим была связана созданная после революции сложная структура дискриминационных законов и правил, ставившая рабочих в привилегированное положение и ущемлявшая права буржуазии. Теперь же, согласно Конституции 1936 г., право голоса получали все, вне зависимости от классовой принадлежности. Исчезла категория бесправных «лишенцев». Дискриминация отдельных классов в политике и на практике была отменена еще до принятия новой Конститу-

11. Цит. по: Н. Л. Рогалина, *Коллективизация: уроки пройденного пути* (Москва, 1989), 198.

ции. Например, несколькими годами ранее было покончено с дискриминацией в пользу рабочих при приеме в университеты.

Таким образом, отход от классовой дискриминации произошел на деле, хотя он ни в коем случае не был настолько полным, как подразумевалось в Конституции, и встретил значительное сопротивление со стороны коммунистов, привыкших к старым порядкам¹². Значение этих изменений можно было интерпретировать двояко. С одной стороны, отказ от классовой дискриминации мог рассматриваться как предпосылка социалистического равенства («Революция свершилась»). С другой стороны, его можно было воспринимать как однозначный отказ режима от его обязательств перед пролетариатом («Преданная революция»). Статус рабочего класса и его отношения с советской властью при новой системе оставались неясными. Каких-либо внятных официальных заявлений о том, что эпоха пролетарской диктатуры кончилась, сделано не было (хотя по логике вещей именно этот вывод следовало сделать, если Советский Союз уже вступил в эпоху социализма), но на смену таким понятиям, как «пролетарская гегемония», пришли более расплывчатые формулировки, наподобие «ведущей роли рабочего класса».

Такие критики-марксисты, как Троцкий, могли бы сказать, что партия утратила опору под ногами, позволив бюрократии заменить рабочий класс в качестве главного источника ее социальной под-

12. См.: Фицпатрик, *Срывайте маски!*, 53–57, 60–64. Отметим, что наряду с исчезновением старых форм дискриминации возникали новые. По сравнению с остальными гражданами в неравноправном положении находились колхозники, не говоря уже про депортированных кулаков и прочих административно-ссылных.

держки. Но Сталин придерживался иного мнения. С точки зрения Сталина, одним из великих достижений революции было создание «новой советской интеллигенции» (под которой по сути понималась новая управленческая и профессиональная элита), которую составляли выходцы из рабочего класса и крестьянства¹³. Советскому режиму уже не приходилось полагаться на остатки старых элит, чья лояльность всегда была сомнительной — отныне он мог опираться на свою собственную элиту, состоявшую из доморощенных «руководящих кадров и специалистов», которые были обязаны своим выдвижением и карьерой революции, что давало гарантию их полной преданности ей (и Сталину). Как только режим получил социальную опору в лице этого «нового класса» — «вчерашних рабочих и крестьян, выдвинувшихся на командные посты», — вся проблема пролетариата и его особых отношений с режимом потеряла значение в глазах Сталина. В конце концов, как он дал понять в своем обращении к XVIII съезду партии в 1939 г., цветок прежнего революционного рабочего класса по сути был пересажен на почву новой советской интеллигенции, и если рабочие, не преуспевшие в плане карьерного роста, испытывают зависть, то тем хуже для них. Нет особых сомнений в том, что это мнение было более чем понятным с точки зрения новой элиты — «сыновей рабочего класса», которые, что характерно для всякой вертикальной мобильности, и гордились своим незавидным происхождением, и были рады тому, что сумели подняться над породившей их средой.

13. См.: Fitzpatrick, «Stalin and the Making of a New Elite», in Fitzpatrick, *The Cultural Front*, 177–8.

«Преданная революция»

Обещания свободы, равенства и братства присущи почти любой революции, но эти обещания почти неизбежно предаются забвению победившими революционерами. Большевики знали об этом заранее, потому что читали Маркса. Даже в эйфории октябрьской победы они изо всех сил старались оставаться осмотрительными научными революционерами, а не мечтателями-утопистами. Свои обещания свободы, равенства и братства они подстраховывали ссылками на классовую войну и диктатуру пролетариата. Но отказаться от классических революционных лозунгов было так же трудно, как совершить успешную революцию в отсутствие революционного энтузиазма. В эмоциональном плане вождям старых большевиков не удавалось вполне освободиться от эгалитарных и либертарианских настроений; в какой-то мере они были и утопистами, несмотря на все их марксистские теории. Новые большевики, воспитанные на опыте 1917 г. и Гражданской войны, отличались такими же эмоциональными реакциями, но уже не подчинялись никаким интеллектуальным сдержкам. И если большевистская революция была не вполне эгалитарной, либертарианской и утопической, то она по крайней мере время от времени делала большевиков эгалитаристами, либертарианцами и утопистами.

Ультрареволюционная струя в постоктябрьском большевизме преобладала во время культурной революции периода Первой пятилетки, которая, как свойственно подобным процессам, отличалась чрезмерностью и сменилась откатом к более осторожной социальной и культурной политике, но-

сившей менее экспериментальный характер. Эти события были названы «великим отступлением», и хотя такое определение влечет за собой недоучет ряда важных «революционных» аспектов 1930-х гг. — в первую очередь то, что крестьянское сельское хозяйство подверглось коллективизации, была ликвидирована городская частная торговля и всего через пять лет после краха культурной революции страну накрыла новая волна террора, — оно тем не менее отчасти передает характер перехода, произошедшего в середине 1930-х гг. Разумеется, многое зависит от точки зрения. Молодые энтузиасты, горевшие желанием ехать на стройки социализма в Магнитогорск или Комсомольск-на-Амуре, как будто бы не придавали особого значения этим изменениям и не считали, что живут в период революционного «отступления»¹⁴. С другой стороны, старые большевики, и особенно интеллектуалы из их числа, с неприязнью воспринимали многие новшества, в первую очередь усиление акцента на иерархических отношениях, признание привилегий элиты и отход режима от прежнего стремления отождествлять себя с пролетариатом. Такие люди, может быть, и не согласились бы с обвинениями Троцкого, считавшего, что произошло предательство революции, но они бы поняли, что он имеет в виду.

«Великое отступление» самым вопиющим образом отразилось на сфере нравов, воплотившись в явлении, которое критики, вроде Троцкого, называли «обмещаниванием», а сторонники называли

14. В дневниках и мемуарах людей, чья юность пришлась на 1930-е гг., почти не найти следов осознания «великого отступления»; см., например: Jochen Hellbeck, *Revolution on my Mind* (Cambridge, Mass., 2006).

«ростом культурности». В 1920-е гг. пролетарские нравы культивировались даже большевиками-интеллектуалами: когда Сталин объявлял себя перед партийной аудиторией «грубым» человеком, это звучало как самореклама, а не как самоумаление. Но в 1930-е гг. Сталин начал подавать себя советским коммунистам и зарубежным интервьюерам в образе культурного человека, такого же, как Ленин. Среди его соратников в руководстве партии недавно возвысившиеся Хрущевы, гордившиеся своим пролетарским происхождением, но опасавшиеся вести себя на манер крестьян, стали численно преобладать над Бухаринными, гордившимися своей культурой, но опасавшимися вести себя на манер буржуазных интеллектуалов. Коммунисты, занимавшие более низкие уровни иерархии, старались обучиться хорошим манерам и расставлялись с армейскими сапогами и кепками, не желая, чтобы их принимали за представителей не склонного к вертикальной социальной мобильности пролетариата.

В экономической сфере Второй пятилетний план ознаменовал переход к более осмотрительному планированию, а рабочих призывали повышать производительность труда и приобретать новые навыки. Окончательно утвердился принцип материального стимулирования, предусматривающий различия в заработной плате в соответствии с квалификацией и премии за превышение норм выработки. Были подняты оклады специалистов, и в 1932 г. отношение среднего заработка инженеров и технического персонала к среднему заработку рабочих было более высоким, чем в какой-либо иной период в истории советской власти. В рамках стахановского движения (названного по имени донбасского шахтера, побившего рекорды вы-

работки) превозносились достижения отдельных трудящихся, хотя на самом деле они были результатом коллективных усилий. Стахановцы, перевыполнявшие нормы, щедро вознаграждались за свои успехи и прославлялись в СМИ, но в реальной жизни они почти неизбежно сталкивались с возмущением со стороны коллег и отчуждением от них. Кроме того, стахановцами назывались новаторы и рационализаторы производства, откликнувшиеся на призывы бросать вызов консерватизму специалистов и разоблачать молчаливый сговор заводского управления, инженеров и профсоюзных организаций, сопротивлявшихся постоянно поступающим сверху требованиям об увеличении норм выработки¹⁵.

В сфере образования 1930-е гг. стали периодом внезапного отказа как от чрезвычайно смелых экспериментов, свойственных культурной революции, так и от более умеренных прогрессивных тенденций 1920-х гг. В школы вернулись домашние задания, учебники, формальное обучение в классе и дисциплина. В конце 1930-х гг. школьников вновь одели в форму, после чего мальчики и девочки в советских школах стали выглядеть почти так же, как их предшественники в царских гимназиях. Требования, предъявлявшиеся при поступлении в университеты и техникумы, вновь стали основываться на академических, а не на социальных и политических критериях, был восстановлен авторитет преподавателей и возвращены экзамены, ученые степени и академические звания¹⁶.

15. Lewis H. Siegelbaum, *Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941* (Cambridge, 1988).

16. Fitzpatrick, *Education and Social Mobility*, 212-233; Timasheff, *The Great Retreat*, 211-225.

В программу школ и университетов вернулась история — предмет, запрещенный вскоре после революции на том основании, что он не имеет отношения к современной жизни и традиционно использовался для насаждения патриотизма и идеологии правящего класса. Господствовавшее в 1920-е гг. направление марксистской истории, связанное с именем Михаила Покровского, историка из числа старых большевиков, дискредитировало себя тем, что сводило историю к абстрактной летописи классовых конфликтов, лишенной имен, дат и героев и не пробуждавшей никаких чувств. Сталин потребовал написать новые учебники истории, многие из которых были составлены старыми врагами Покровского, «буржуазными» историками традиционного толка, признававшими марксизм лишь на словах. В истории вновь нашлось место для героев — включая таких великих русских вождей из царского прошлого, как Иван Грозный и Петр Великий¹⁷.

Несмотря на сдержанное отношение к сексуальному освобождению, большевики вскоре после революции разрешили аборт и разводы и решительно поддерживали право женщин работать; массовое сознание видело в них врагов семьи и традиционных моральных ценностей. В 1930-е гг. на щит вновь стали подниматься материнство и семейные добродетели, что могло рассматриваться как реакционный шаг, как уступка общественному мнению или как то и другое вместе. В магазинах вновь появились золотые свадебные кольца, сожителство без заключения брака утратило свой легальный

17. См.: David Brandenberger, *National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1936* (Cambridge, Mass., 2002), 43–62.

статус, получение развода усложнилось, а люди, пренебрегавшие своими семейными обязанностями, подвергались суровой критике («Плохой муж и отец не может быть хорошим гражданином»). После дискуссии, участники которой высказывались и за право на аборт, и против него, аборт подвергся запрету¹⁸, а мужской гомосексуализм без всякой огласки был внесен в список уголовных преступлений. В глазах коммунистов, усвоивших более свободные взгляды предыдущего периода, все это очень сильно напоминало ненавистное мелкобуржуазное филистерство, тем более с учетом сентиментальной и ханжеской окраски, которую приобрели разговоры о материнстве и семье.

В 1929–1935 гг. оплачиваемую работу впервые получило почти четыре миллиона женщин¹⁹, что означало, что одна из принципиальных целей женской эмансипации была однозначно выполнена. В то же время упор, вновь делавшийся на семейные ценности, порой как будто бы вступал в противоречие со старыми лозунгами эмансипации. В ходе кампании, немислимой в 1920-е гг., жены членов советской элиты призывались к участию в добровольной общественной деятельности, очень сильно напоминавшей практиковавшуюся привилегированными классами благотворительность, которую всегда презирали русские феминистки социалистического и даже либерального толка. В 1936 г. жены руководителей и главных инженеров предприятий собрались в Кремле на свой общесоюзный съезд,

18. О дебатах по вопросу об аборте см.: Шейла Фицпатрик, *Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 30-е годы: город* (Москва, 2011), 183–189.

19. Wendy Z. Goldman, *Women at the Gates. Gender and Industry in Stalin's Russia* (Cambridge, Mass., 2002), 1.

на котором присутствовали Сталин и другие члены Политбюро, чествовавшие их достижения в качестве добровольных организаторов культурной и общественной работы на заводах своих мужей²⁰.

Эти жены и их мужья де-факто принадлежали к элите, чье привилегированное положение по отношению к остальному населению служило источником раздражения у советских рабочих²¹ и некоторой растерянности у членов партии. В 1930-е гг. привилегии и высокий уровень жизни превратились в обычное и почти обязательное следствие элитного статуса, в противоположность ситуации 1920-х гг., когда доходы коммунистов, по крайней мере в теории, были ограничены «партмаксимумом», не допускавшим, чтобы их оклад превышал средний заработок квалифицированных рабочих. Элиту — включавшую лиц свободных профессий (и коммунистов, и беспартийных), а также коммунистических функционеров, — отделяли от народных масс не только высокие заработки, но и привилегированный доступ к товарам и услугам, а также всевозможные материальные и почетные награды. Представители элиты могли пользоваться магазинами, закрытыми для широкой публики, покупать товары, недоступные для прочих потребителей, и проводить отпуска на специальных курортах

20. О движении жен см.: Фицпатрик, *Повседневный сталинизм*, 189–196. Отметим, что по-прежнему пользовались одобрением старые призывы к эмансипации, включая сопротивление угнетению со стороны мужей, обращенные к «отсталым» женщинам (крестьянкам, представительницам национальных меньшинств), а женский труд оставался важной ценностью, несмотря на то, что некоторые женщины из рядов элиты могли предпочесть ему общественную деятельность.

21. См.: Сара Дэвис, *Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и унакомыслие, 1934–1941* (Москва, 2012), гл. 8.

и благоустроенных дачах. Они нередко жили в особых домах, а на работу их мог отвозить автомобиль с шофером. Многие из этих привилегий были порождением закрытых систем распределения, создававшихся в годы Первой пятилетки в ответ на острую нехватку товаров и превратившихся в постоянную черту советского пейзажа²².

Вопрос о привилегиях элиты по-прежнему вызывал некоторое смущение у вождей партии; показное щегольство или алчность могли обернуться порицанием и даже стоять жизни в годы «Больших чисток». В любом случае до какого-то момента привилегии элиты замалчивались. В стране было еще слишком много старых большевиков, поощрявших аскетическую жизнь и критиковавших тех, кто не устоял перед роскошью: соответствующие выпады Троцкого в «Преданной революции» не слишком отличались от тех, что частным образом делал ортодоксальный сталинист Молотов²³, а показное потребление и стяжательство входили в число тех грехов, за которые регулярно порицались опальные члены коммунистической элиты во время «Больших чисток». Нужно ли говорить, что марксисты сталкивались с новыми концептуальными проблемами, связанными с возникновением привилегированного бюрократического класса, «нового класса» (этот термин был введен в обиход югославским марксистом Милованом Джиласом) или «новой служилой знати» (согласно определению Роберта Такера)²⁴. Сталин попытал-

22. О привилегиях элиты см.: Фицпатрик, *Повседневный сталинизм*, 117–130.

23. Троцкий, *Преданная революция*, гл. 6; Чуев, *Сто сорок бесед с Молотовым*, 312, 315, 410.

24. Milovan Djilas, *The New Class. An Analysis of the Communist System* (London, 1966); Милован Джилас, *Новый класс* (Нью-Йорк,

ся решить эти проблемы, назвав новый привилегированный класс «интеллигенцией» и тем самым переключив акцент с социально-экономического на культурное превосходство. Согласно сталинскому подходу эта интеллигенция (новая элита) играла роль авангарда, сопоставимую с ролью Коммунистической партии в политике; и в качестве культурного авангарда она не могла не иметь доступа к более широкому кругу культурных ценностей (включая потребительские товары), по сравнению с тем, который на тот момент был доступен остальной части населения²⁵.

Новая ориентация режима очень сильно затронула культурную жизнь страны. Во-первых, культурные интересы и культурное поведение («культурность») входили в число зримых признаков элитного статуса, демонстрация которых ожидалась от коммунистических функционеров. Во-вторых, к новой элите принадлежали беспартийные лица свободных профессий — то есть старая «буржуазная интеллигенция», — возвращавшиеся в тех же кругах, что и коммунистические функционеры, и делившие с ними общие привилегии. Такой подход представлял собой настоящее отречение от прежнего предубежденного отношения партии к специалистам, сделавшего возможным культурную революцию (в 1931 г., в своей речи о «шести условиях», Сталин подал сигнал к пересмотру вопроса о «вредительской деятельности» буржуазной интеллигенции, открыто заявив, что старая техни-

1961); Роберт Такер, *Сталин: история и личность* (Москва, 2006), 587.

25. Этот момент развивается в: Sheila Fitzpatrick, «Becoming Cultured: Socialist Realism and the Representation of Privilege and Taste», in Fitzpatrick, *The Cultural Front*, 216–37.

ческая интеллигенция отказалась от своих попыток саботировать советскую экономику, понимая, что наказание за это будет слишком суровым и что успех индустриализации уже обеспечен²⁶). Одновременно с прекращением гонений на старую интеллигенцию партийное руководство подвергло опале многих интеллектуалов-коммунистов, являвшихся активистами культурной революции. Одно из принципиальных положений культурной революции заключалось в том, что революционная эпоха требует иной культуры, нежели культура Пушкина и «Лебединого озера». Но в сталинскую эпоху, когда старая буржуазная интеллигенция упорно защищала культурное наследие, а новая аудитория из рядов среднего класса нуждалась в доступной для усвоения культуре, Пушкин и «Лебединое озеро» оказались победителями.

Однако было еще рано говорить о подлинном возвращении к норме. Существовали внешние трения, стабильно усиливавшиеся на протяжении 1930-х гг. В 1934 г. на «съезде победителей» одной из обсуждавшихся тем стал недавний захват Гитлером власти в Германии — это событие наделило конкретным смыслом прежние смутные опасения относительно возможной военной интервенции со стороны западных капиталистических держав. Существовали и разнообразные внутренние трения. Пусть на щит вновь поднимались семейные ценности, но города и железнодорожные вокзалы опять, как и в годы Гражданской войны, были переполнены брошенными и осиротевшими детьми. Обмещанивание было доступно лишь ничтожно-

26. И. В. Сталин, «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства. 23.06.1931», в И. В. Сталин, *Сочинения*. Т. 8.

му меньшинству горожан, остальные же ютились в коммунальных квартирах, где прежде жила одна семья, а теперь обитало несколько семей — по семье в комнате, — совместно пользовавшихся кухней и ванной; помимо этого, сохранялось нормирование на все товары первой необходимости. Пусть Сталин говорил колхозникам: «Жить стало лучше, жить стало веселее», но на тот момент — в начале 1935 г. — лишь два урожая отделяли их от голода 1932–1933 гг.

То, насколько непрочна послереволюционная «нормальная жизнь», стало ясно зимой 1934–1935 гг. На 1 января 1935 г. была запланирована отмена хлебных карточек, но режим решил устроить пропагандистский блицкриг на тему «Жить стало лучше». Газеты воспевали ожидавшееся в самое ближайшее время товарное изобилие (хотя не скрывалось, что оно должно было наступить лишь в немногих дорогих коммерческих магазинах) и восторженно описывали блеск и изысканность балов-маскарадов, которыми москвичи встречали Новый год. В феврале предстояло проведение съезда колхозников, который должен был принять новый колхозный устав, гарантировавший получение личного надела и другие уступки крестьянам. Все это в самом деле произошло в первые месяцы 1935 г., но в тревожной, полной предчувствий атмосфере, омраченной произошедшим в декабре убийством Сергея Кирова, вождя ленинградской партийной организации. Это происшествие заставило содрогнуться партию и ее руководство; в Ленинграде были проведены массовые аресты. Несмотря на все признаки и символы послереволюционного «возвращения к норме», до нормы было еще очень далеко.

Террор

Представь себе, читатель, что Золотой век был бы уже у порога и все же нельзя было бы получить даже бакалейных товаров — благодаря изменникам. С какой пылкостью стали бы люди избивать изменников в этом случае!.. Но в самом деле степень, до какой дошла подозрительность, говорит уже достаточно о настроении мужчин и женщин. Мы часто называли ее сверхъестественной, и можно было подумать, что это преувеличение, но послушайте хладнокровные показания свидетелей. Ни один патриот-музыкант не может сыграть обрывка мелодии на валторне, сидя в мечтательной задумчивости на крыше своего дома, чтобы Мерсье не признал в этом сигнал, подаваемый одним заговорщическим комитетом другому... Луве, способный понимать суть вещей не хуже других, видит, что депутация должна предложить нам вернуться в наш старый зал Манежа и что по дороге анархисты убьют двадцать два из нас. Это все Питт и Кобург и золото Питта... Позади, спереди, вокруг разыгрывается чудовищная кукольная комедия заговоров, и Питт дергает за веревочки²⁷.

Так писал Карлейль о Французской революции, но едва ли найдутся слова, лучше передающие атмосферу 1936–1937 гг. в Советском Союзе. 29 июля 1936 г. Центральный комитет разослал всем местным партийным организациям секретное письмо «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока», в котором утверждалось, что именно бывшие оппозиционные группировки, объединившие вокруг себя ненавидевших советскую власть «шпионов, провокаторов, диверсантов, белогвардейцев [и] кулаков», ответственны за убийство Сергея Кирова, ленинградского партийного вождя. Важней-

27. Томас Карлейль, *Французская революция* (Москва, 1991), 454.

шей чертой любого коммуниста называлась бдительность — способность распознать врага партии, как бы тщательно он ни маскировался²⁸. Это письмо послужило прелюдией к состоявшемуся в августе первому показательному процессу «Больших чисток», на котором Лев Каменев и Григорий Зиновьев, два бывших вождя оппозиции, были признаны соучастниками убийства Кирова и приговорены к смерти.

На втором показательном процессе, проводившемся в начале 1937 г., упор делался на вредительстве и саботаже в промышленности. Главным подсудимым был бывший троцкист Юрий Пятаков, с начала 1930-х гг. — правая рука Орджоникидзе в Наркомате тяжелой промышленности. В июне того же года были объявлены германскими шпионами и казнены сразу же после секретного военного полевого суда маршал Тухачевский и другие руководители вооруженных сил. В число подсудимых на последнем показательном процессе, состоявшемся в марте 1938 г., входили бывшие вожди правой оппозиции Бухарин и Рыков, а также Генрих Ягода, бывший глава тайной полиции. В ходе всех этих процессов подсудимые из числа старых большевиков публично сознавались в многочисленных ужасающих преступлениях, чрезвычайно подробно описывавшихся ими суду. Почти все они были приговорены к смерти²⁹.

Помимо более зрелищных преступлений — таких, как убийство Кирова и писателя Максима Горького, — заговорщики признавались в много-

28. J. Arch Getty and Oleg V. Naumov, *The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939* (New Haven, 1999), 250–255.

29. Эти процессы ярко описаны в: Роберт Конквест, *Большой террор* (Рига, 1991).

численных актах экономического саботажа, призванных спровоцировать массовое недовольство режимом и способствовать его свержению. Они включали организацию несчастных случаев на заводах и в шахтах, вызвавших гибель многих рабочих, задержку выплаты зарплаты и сбои в поставках товаров, вследствие чего в сельские магазины не поступало сахара и табака, а в городских булочных наблюдались перебои с хлебом. Кроме того, заговорщики сознавались в лицемерии — публично заявляя об отречении от своих оппозиционных взглядов и о верности партийной линии, все это время они частным образом выражали несогласие с ней, сомневались и критиковали.

Утверждалось, что за всеми этими заговорами, конечной целью которых являлось военное нападение на Советский Союз, свержение коммунистического режима и восстановление капитализма, стоят иностранные разведки — немецкая, японская, британская, французская, польская. Но душой всех заговоров был Троцкий, якобы агент не только Гестапо, но и (еще с 1926 г.!) британской разведки, игравший роль посредника между иностранными державами и сетью заговорщиков в Советском Союзе.

«Большие чистки» не были первым эпизодом террора в ходе Русской революции. Террор против «классовых врагов» являлся составной частью Гражданской войны, а также коллективизации и культурной революции. Более того, Молотов в 1937 г. говорил о прямой преемственности между такими процессами времен культурной революции, как Шахтинский процесс и процесс «Промпартии», и нынешними процессами — за тем важным различием, что на этот раз заговорщиками против советской власти были не «буржуазные специалисты»,

а коммунисты или по крайней мере люди, «прикидывавшиеся» коммунистами и сумевшие пробраться на высшие должности в партии и правительстве³⁰.

Во второй половине 1936 г. начались массовые аресты в верхних эшелонах власти, особенно в промышленности. Но реально охота на ведьм началась лишь с сигнала, который на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 г. дали Сталин, Молотов и Николай Ежов (новый глава НКВД, как с 1934 г. называлась тайная полиция)³¹. После этого на протяжении двух лет, в 1937 и 1938 гг., во всех ветвях административного аппарата — в правительстве, партии, промышленности, вооруженных силах и даже в тайной полиции, — шли аресты руководителей-коммунистов, разоблаченных в качестве «врагов народа». Некоторые из них были расстреляны; другие сгинули в ГУЛАГе. Хрущев в своем секретном докладе на XX съезде партии утверждал, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных в 1934 г. на «съезде победителей», жертвами «Больших чисток» пали все, кроме 41 человека. Почти полностью прервалась преемственность в руководстве: в результате «чисток» было уничтожено не только большинство еще живых к тому времени старых большевиков, но и значительная часть членов партии, пришедших в нее во время Гражданской войны и в период коллективизации. Лишь 24 члена ЦК, выбранные на XVIII съезде партии в 1939 г., входили в состав предыдущего ЦК, выбранного пятью годами ранее³².

30. *Большевик*. 1937. № 8, 21–22.

31. См. материалы этого пленума в: Getty and Naumov, *Road to Terror*, 369–411.

32. *Khrushchev Remembers*, trans. and ed. by Strobe Talbott (Boston,

Жертвами «чисток» становились не только высокопоставленные коммунисты. «Чистки» больно ударили и по интеллигенции (как по старой «буржуазной» интеллигенции, так и по коммунистической интеллигенции 1920-х гг., особенно по активистам культурной революции). Сильно досталось и бывшим «классовым врагам» — обычным подозреваемым во время всякого русского революционного террора, даже в тех случаях, когда, как это было в 1937 г., конкретно на них не объявлялась охота, — и всем остальным, кто когда-либо по какой-либо причине вносился в официальные черные списки. Особенному риску подвергались лица, имевшие родственников или связи за границей. Сталин даже издал специальный секретный приказ об аресте десятков тысяч «бывших кулаков и преступников», включая рецидивистов, конокрадов и религиозных сектантов, уже подвергавшихся тюремному заключению, и об их расстреле или отправке в ГУЛАГ; кроме того, расстрелу подлежало 10 тыс. закоренелых преступников, в тот момент отбывавших срок в ГУЛАГе³³. Общие масштабы «чисток», на протяжении многих лет служившие предметом дискуссий на Западе, начинают проясняться по мере изучения прежде недоступных советских архивов. По данным из архивов НКВД, число заключенных в трудовых лагерях ГУЛАГа за два года, начиная с 1 января 1937 г., выросло на полмиллиона человек, к 1 января 1939 г. достигнув 1,3 млн. На втором году из этих двух лет 40% заключенных

1970), 572; Graeme Gill, *The Origins of the Stalinist Political System* (Cambridge, 1990), 278.

33. Getty and Naumov, *Road to Terror*, 470–471. (Решение Политбюро от 2.07.1937 «Об антисоветских элементах», подписанное Сталиным, и директива от 30.07, подписанная Ежовым (главой НКВД)).

ГУЛАГа составляли осужденные за «контрреволюционные» преступления, 22% проходили по графе «социально вредных или социально опасных элементов», а остальные в подавляющем большинстве были обычными уголовными преступниками. Но многие жертвы «чисток» были казнены в тюрьмах, не попав в ГУЛАГ. В документах НКВД за 1937–1938 гг. зафиксировано более 680 тыс. таких казней³⁴.

В чем заключался смысл «Больших чисток»? Их объяснения с точки зрения *raison d'état* (искоренение потенциальной «пятой колонны» на случай войны) неубедительны; объяснения, ссылающиеся на тоталитарные императивы, требуют ответа на вопрос, в чем состоят эти тоталитарные императивы. Проблема упрощается при рассмотрении феномена «Больших чисток» в контексте революции. Подозрительное отношение к врагам — подкупленным иностранными державами, нередко скрытым, участвующим в постоянных заговорах с целью погубить революцию и вовлечь народ в пучину бедствий, — представляет собой стандартную черту революционной ментальности, ярко описанную Томасом Карлейлем в отрывке о якобинском терроре 1794 г., процитированном в начале этого раздела. В обычных обстоятельствах люди отвергают идею о том, что лучше погубить десятерых невиновных, чем позволить остаться безнаказанным одному виновному; в аномальных условиях революции такая идея нередко получает одобре-

34. По данным из: Oleg V. Khlevnyuk, *The History of the Gulag. From Collectivization to the Great Terror* (New Haven, 2004), 305, 308, 310–312. Следует отметить, что эти цифры касаются только исправительно-трудовых лагерей, без учета исправительно-трудовых колоний, тюрем и административной ссылки.

ние. Видное положение — отнюдь не гарантия безопасности во время революции, а скорее наоборот. То, что в ходе «Больших чисток» было выявлено столько «врагов» под личиной революционных вождей, не должно удивлять знатоков Французской революции.

Нетрудно проследить революционные корни «Больших чисток». Как уже отмечалось, Ленин не испытывал колебаний в отношении революционного террора и нетерпимо относился ко всякой оппозиции как в самой партии, так и за ее пределами. Тем не менее при Ленине проводилось четкое различие между методами, допустимыми при борьбе с оппозицией вне партии, и методами, которые можно использовать против диссидентов внутри партии. Старые большевики придерживались принципа, согласно которому внутрипартийные разногласия не касаются тайной полиции, поскольку большевики не должны следовать примеру якобинцев и обращать террор против своих собственных товарищей. Впрочем, каким бы замечательным ни был этот принцип, тот факт, что вождям большевиков приходилось подтверждать его, дает некоторое представление об атмосфере, окружавшей внутрипартийную политику.

В начале 1920-х гг., когда организованная оппозиция вне большевистской партии исчезла и был введен формальный запрет на внутрипартийные фракции, диссидентские группы внутри партии по сути оказались в положении прежних оппозиционных партий за ее пределами, и потому едва ли удивительно, что аналогичным стало и отношение к ним. В любом случае Коммунистическая партия не выказывала сильного возмущения, когда Сталин в конце 1920-х гг. натравил тайную полицию на троцкистов, а затем (по примеру того, как

поступил Ленин с лидерами кадетов и меньшевиков в 1922–1923 гг.) выслал Троцкого из страны. Во время культурной революции коммунисты, работавшие в тесном контакте с дискредитированными «буржуазными специалистами», казалось, могли навлечь на себя обвинения в чем-то более серьезном, чем глупость. Однако Сталин отступил и даже позволил вождям правой оппозиции остаться на высоких должностях. Тем не менее он сделал так вопреки своей натуре: Сталин — как и многие рядовые коммунисты — терпел бывших оппозиционеров явно с большим трудом.

Для понимания генезиса «Больших чисток» важно учитывать такую революционную практику, как периодические «чистки» партии, проводившиеся с начала 1920-х гг. Они участились с конца 1920-х гг.: чистки устраивались в 1929, 1933–1934, 1935 и 1936 гг. В ходе партийной чистки каждый член партии должен был предстать перед специальной комиссией и дать ответ на ту критику, которая выдвигалась против него открыто другими партийцами или тайно, посредством доносов. Неоднократные чистки приводили к тому, что старые обвинения выдвигались снова и снова и от них становилось буквально невозможно отмыться. Нежелательные родственники, дореволюционные связи с другими политическими партиями, членство в партийных оппозициях, прежние скандалы и официальные выговоры, даже прежние бюрократические ошибки и прегрешения однофамильцев — все это повисало на шее у членов партии, год от года становясь все более тяжким грузом. Каждая последующая чистка, казалось, лишь усиливала, а не ослабляла подозрения вождей партии в том, что партия засорена недостойными и ненадежными людьми.

Более того, каждая чистка порождала все больше потенциальных врагов режима, поскольку исключенные из партии обычно были возмущены этим ударом по своему статусу в обществе и перспективам карьерного роста. В 1937 г. один член ЦК (Эйхе) частным образом предположил, что в стране, вероятно, насчитывается больше *бывших* коммунистов, чем нынешних членов партии, и эта мысль явно вызывала у него и у его коллег глубокое беспокойство³⁵. У партии уже было столько врагов — причем в большинстве своем тайных! Среди них были старые враги — лица, утратившие свои привилегии во время революции, церковники и т. п. Теперь же к ним прибавились *новые* враги — жертвы недавней ликвидации кулаков и нэпманов как класса. Вне зависимости от того, был ли тот или иной кулак заклятым врагом советской власти до раскулачивания, он, несомненно, становился таковым после него. Самым тревожным во всем этом было то, что огромное число кулаков, подвергшихся экспроприации, бежало в города, начинало жизнь заново, скрывало свое прошлое (потому что иначе их бы не взяли на работу), прикидывалось честными работниками — короче, становилось скрытыми врагами революции. Сколько в стране было по видимости убежденных молодых комсомольцев, скрывавших тот факт, что их отцы прежде были кулаками или священниками! Неудивительно, что, как предупреждал Сталин, отдельные классовые враги становились *только опаснее* после ликвидации враждебных классов. Разумеется, это было именно так, поскольку эта ликвидация ударила по ним лично, и теперь у них имелась ре-

35. Российский государственный архив социально-политической информации (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Л. 16.

альная, конкретная причина для ненависти к советскому режиму.

Количество доносов в досье на всех коммунистических функционеров стабильно возрастало год от года. Один из популистских аспектов сталинской революции заключался в том, что простых граждан поощряли писать жалобы, если у них были причины для недовольства «злоупотреблениями власти», допущенными местными должностными лицами; и последующие расследования нередко вели к увольнению этих должностных лиц. Но за многими жалобами стоял не только поиск справедливости, но и озлобление. Судя по всему, рассерженными колхозниками, в 1930-е гг. в огромных количествах писавшими доносы на председателей колхозов и прочих сельских должностных лиц, во многих случаях двигали не столько конкретные обиды, сколько общее недовольство³⁶.

«Большие чистки» не могли приобрести лавинообразный характер в отсутствие массового участия населения. Свою роль в них сыграли корыстные доносы, как и жалобы на начальников, основанные на реальных обидах. В стране, уже не в первый раз за последние двадцать лет, разгорелась шпиономания: пионерка Лена Петренко, возвращаясь из летнего пионерского лагеря, поймала в поезде шпиона, услышав, что он говорит по-немецки; другой бдительный гражданин ухватил за бороду нищего богомольца, и она осталась у него в руке — нищий оказался шпионом, только что перешедшим границу³⁷. На проходивших в конторах и партий-

36. См. о доносах: Фицпатрик, *Сталинские крестьяне*, гл. 9; Фицпатрик, *Срывайте маски!*, гл. 11–12.

37. *Звезда* (Днепропетровск). 1.08.1937, с. 3; *Крестьянская правда* (Ленинград). 9.08.1937, с. 4.

ных ячейках собраниях, посвященных «самокритике», страх и подозрения вели к поиску козлов отпущения, истерическим обвинениям и запугиванию.

Впрочем, все это несколько отличалось от народного террора. Подобно якобинскому террору в годы Французской революции, это был государственный террор, жертвами которого в первую очередь становились бывшие революционные вожди. В противоположность прежним случаям революционного террора спонтанное народное насилие играло здесь лишь незначительную роль. Более того, острие террора было направлено уже не на прежних «классовых врагов» (дворян, священников и прочих реальных противников революции), а на «врагов народа» в рядах самих революционных сил.

Однако различия между двумя этими случаями не менее любопытны, чем сходства. Во время Французской революции Робеспьер, инициатор террора, сам пал его жертвой. Напротив, во время «Большого террора» в России главный организатор террора, Сталин, остался цел и невредим. Хотя Сталин в итоге пожертвовал своим послушным орудием (Ежов, возглавлявший НКВД с сентября 1936 г. по декабрь 1938 г., был арестован весной 1939 г. и впоследствии расстрелян), ничто не указывает на возникновение у него ощущения, что события всерьез выходят из-под контроля или что для него лично существовала какая-то угроза, или на то, что он избавился от Ежова по какой-либо иной причине, помимо макиавеллиевской осторожности³⁸. «Массовые чистки» и «чрезмерная» бдительность были в рабочем порядке осуждены

38. Об опале и гибели Ежова см.: Н. Петров и М. Янсен, *«Сталинский питомец» — Николай Ежов* (Москва, 2008), гл. 6–7.

и подверглись порицанию на XVIII съезде партии в марте 1939 г.; Сталин в своем выступлении уделил мало внимания этой теме, хотя и потратил минуту на опровержение заявлений зарубежной печати о том, что «чистки» ослабили Советский Союз³⁹.

Стенограммы московских показательных процессов и тексты выступлений Сталина и Молотова на февральско-мартовском пленуме поражают читателя не только драматичностью этих событий, но и их театральностью, ощущением надуманности и расчета, отсутствием какой-либо искренней эмоциональной реакции со стороны вождей на известия о предательстве их коллег. Перед нами — революционный террор иного рода, в котором ощущается рука если не автора, то режиссера.

В работе «18 брюмера Луи Бонапарта» Маркс высказал знаменитую мысль о том, что все великие события повторяются дважды — сперва в виде трагедии, затем в виде фарса. И хотя «Большой террор» в России не был фарсом, ему присущи некоторые черты ремейка — постановки, осуществленной в подражание какому-то предыдущему образцу. Вполне возможно, как полагает русский биограф Сталина, что образцом для «Большого террора» послужил якобинский террор: безусловно, понятие «враги народа», по всей видимости, внедренное Сталиным в советский дискурс в связи с «Большими чистками», восходит своими корнями к Французской революции. В этом свете становится проще понять, зачем для решения такой относительно незамысловатой задачи, как уничтожение политических противников, потребовался

39. И. В. Сталин, «Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК РКП(б), 20.03.1939», в И. В. Сталин, *Сочинения*. Т. 14 (Москва, 1997).

барочный антураж в виде нарастающих как снежный ком обвинений и всеобщей подозрительности. Более того, заманчиво пойти еще дальше и предположить, что Сталин, организовав террор (который в соответствии с классической революционной логикой должен предшествовать Термидору, а не следовать за ним), может быть, даже полагал, что тем самым он однозначно опровергает выдвинутое Троцким обвинение в том, что его правление привело к «советскому Термидору»⁴⁰. Кто мог сказать, что Сталин — реакционер-термидорианец, предавший революцию, после этой демонстрации революционного террора, рядом с которой померк даже террор Французской революции?

В чем же заключалось наследие Русской революции? Вплоть до 1991 г. под это определение подпадала сама советская система. До самого последнего дня ее отличительной чертой оставались красные знамена и транспаранты с лозунгами: «Ленин жив! Ленин с нами!» Наследием революции была правящая Коммунистическая партия, равно как и колхозы, пяти- и семилетние планы, хроническая нехватка потребительских товаров, культурная изоляция, ГУЛАГ, разделение мира на лагерь «социализма» и лагерь «капитализма», и заявление о том, что Советский Союз «стоит во главе прогрессивных сил человечества». Несмотря на то что режим и общество утратили свой революционный характер, революция оставалась краеугольным камнем советской национальной традиции, средоточием патриотизма, сюжетом, изучавшимся детьми в школах и прославлявшимся в советском монументальном искусстве.

40. Волкогонов, *Триумф и трагедия*, кн. 1, ч. 2, 167–168, 201.

Русская революция оставила и сложное международное наследие. Это была великая революция XX века, символ социализма, антиимпериализма и отрицания старого строя в Европе. К лучшему или к худшему, но в ее тени существовали международные социалистические и коммунистические движения XX века, как и послевоенные освободительные движения в странах третьего мира. Частью наследия Русской революции была и холодная война, как и сомнительная дань, воздаваемая ее сохранившемуся символическому влиянию. Русская революция в глазах одних воплощала в себе надежду на освобождение от угнетения, а у других вызывала кошмарные видения всемирного триумфа атеистического коммунизма. Именно Русская революция породила определение социализма как результата захвата государственной власти и положила начало его использованию в качестве инструмента экономических и социальных преобразований.

Всякая революция проживает две жизни. В своей первой жизни она считается частью настоящего, неотделимой от текущей политики. В своей второй жизни она перестает быть частью настоящего и отступает в сферу истории и национальных легенд. Но, превращаясь в часть истории, революция не уходит из политики полностью, как показывает пример Французской революции, которая и два столетия спустя остается пробным камнем французских политических дискуссий. Но революция требует взгляда издалека, и в том, что касается историков, допускает больше широты и отстраненности в ее интерпретациях. К 1990-м гг. Русской революции уже давно было пора уйти из настоящего в область истории, но ожидаемый переход задерживался. На Западе, несмотря на сохранение пережитков холодной войны, если не политики, то ис-

торики стали рассматривать Русскую революцию как историю. Однако в Советском Союзе интерпретация Русской революции по-прежнему несла в себе политический заряд и связь с современной политикой вплоть до горбачевской эпохи.

Нельзя сказать, что после крушения Советского Союза Русская революция красиво ушла в историю. Она была выброшена туда — «на свалку истории», если воспользоваться выражением Троцкого — в атмосфере яростной национальной неприязни. В начале 1990-х гг. русские на несколько лет словно бы забыли не только революцию, но и всю советскую эпоху. Однако трудно забыть свое прошлое, особенно те его стороны, к которым, к лучшему или к худшему, было приковано внимание всего остального мира. При Путине в России началось выборочное возрождение советского наследия; и этот процесс, несомненно, продолжится. Если каким-то примером здесь могут служить французы — бравившиеся из-за наследия своей революции и в 1989 г., когда отмечалось ее двухсотлетие, — то в России значение Русской революции останется предметом бурных дискуссий и в год ее столетия, и позже.

Избранная библиография

- Баберовски, Йорг. *Выжженная земля. Сталинское царство насилия* (Москва: РОССПЭН, 2014).
- Валентинов, Николай. *Встречи с Лениным* (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953).
- Виола, Линн. *Крестьянский бунт в эпоху сталинизма* (Москва: РОССПЭН, 2010).
- . *Крестьянский Гулаг. Мир сталинских спецпоселений* (Москва: РОССПЭН, 2010).
- Волкогонов, Дмитрий. *Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина*. Кн. 1–2 (Москва: Новости, 1989).
- Галили, Зива. *Лидеры меньшевиков в русской революции* (Москва: Республика, 1993).
- Гетти, Арч. *Практика сталинизма. Большевики, бояре и неумирающая традиция* (Москва: РОССПЭН, 2016).
- Грациози, Андреа. *Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне 1917–1933* (Москва: РОССПЭН, 2008).
- Дойчер, Исаак. *Троцкий: Вооруженный пророк 1879–1921* (Москва: Центрполиграф, 2006).
- . *Троцкий: Безоружный пророк 1929–1940* (Москва: Центрполиграф, 2006).
- . *Троцкий в изгнании* (Москва: Государственное издательство политической литературы, 1991).
- Дэвис, Роберт и Стивен Уиткрофт. *Годы голода. Сельское хозяйство СССР, 1931–1933* (Москва: РОССПЭН, 2011).
- Келли, Катриона. *Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя* (Москва: Новое литературное обозрение, 2009).
- Колоницкий, Борис. *Символы и борьба за власть. К изучению политической культуры Российской революции 1917 г.* (Санкт-Петербург: Лики России, 2001).
- Конквест, Роберт. *Большой террор*. Т. 1–2 (Рига: Ракстниекс, 1991).
- Козн, Стивен. *Бухарин. Политическая биография 1888–1938* (Москва: Прогресс, 1988).

- Мартин, Терри. *Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939* (Москва: РОССПЭН, 2011).
- Медведев, Рой. *К суду истории. О Сталине и сталинизме* (Москва: Время, 2011).
- Монтефиоре, Симон Себаг. *Сталин. Двор Красного монарха* (Москва: Олма-Пресс, 2005).
- Пайпс, Ричард. *Русская революция* (Москва: Захаров, 2005).
- Рабинович, Александр. *Большевики у власти* (Москва: АИРО-XXI, Новый хронограф, 2008).
- Рид, Джон. *Восставшая Мексика. Десять дней, которые потрясли мир. Америка 1918* (Москва: Художественная литература, 1968).
- Сервис, Роберт. *Ленин. Биография* (Минск: Попурри, 2002).
- Серж, Виктор. *От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера* (Москва: Праксис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001).
- Слезкин, Юрий. *Эра Меркурия. Евреи в современном мире* (Москва: Новое литературное обозрение, 2007).
- Солженицын, Александр. *Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 опыт художественного исследования* (Москва: Альфа-книга, 2017).
- Суханов, Николай. *Записки о революции. Т. 1–3* (Москва: Республика, 1991).
- Такер, Роберт. *Сталин. Путь к власти 1879–1929. История и личность* (Москва: Прогресс, 1991).
- . *Сталин-диктатор. У власти 1928–1941* (Москва: Центрполиграф, 2013).
- Тумаркин, Нина. *Ленин жив! Культ Ленина в Советской России* (Санкт-Петербург: Академический проект, 1999).
- Улам, Адам. *Большевики. Причины и последствия переворота 1917 г.* (Москва: Центрполиграф, 2004).
- Фицпатрик, Шейла. *Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 30-е годы: город* (Москва: РОССПЭН, 2001).
- . *Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века* (Москва: РОССПЭН, 2011).
- . *Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня* (Москва: РОССПЭН, 2001).
- Хлевнюк, Олег. *Сталин. Жизнь одного вождя* (Москва: АСТ, 2015).
- Чуев, Феликс. *Сто сорок бесед с Молотовым* (Москва: Терра, 1991).
- Шлегель, Карл. *Террор и мечта. Москва 1937* (Москва: РОССПЭН, 2011).
- Alexopoulos, Golfo. *Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936* (Ithaca, NY, 2003)

- Ascher, Abraham. *The Revolution of 1905*, i: *Russia in Disarray* (Stanford, CA, 1988); ii: *Authority Restored* (Stanford, CA, 1992).
- Avrich, Paul. *Kronstadt, 1921* (Princeton, NJ, 1970).
- Ball, Alan M. *And Now My Soul is Hardened. Abandoned Children in Soviet Russia, 1918–1930* (Berkeley, CA, 1994).
- Benvenuti, F. *The Bolsheviks and the Red Army, 1918–1922* (Cambridge, 1988).
- Brovkin, Vladimir N. *The Mensheviks after October: Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship* (Ithaca, NY, 1987).
- Browder, Robert P., and Alexander F. Kerensky (eds). *The Russian Provisional Government, 1917*, 3 vols. (Stanford, CA, 1961).
- Carr, E. H. *A History of Soviet Russia* (London, 1952–78). Отдельные тома: *The Bolshevik Revolution, 1917–1923*, 3 vols. 1952), *The Interregnum, 1923–1924* (1954), *Socialism in One Country, 1924–1926*, 3 vols. (1959), *Foundations of a Planned Economy, 1926–1929*, 3 vols., vol. 2 в соавторстве с R. W. Davies (1969–78).
- Chamberlin, W. H., *The Russian Revolution*, 2 vols. (London, 1935).
- Chase, William. *Workers, Society, and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918–1929* (Urbana, IL, 1987).
- Clements, Barbara E. *Bolshevik Feminist: The Life of Alexandra Kollontai* (Bloomington, IN, 1979).
- Cohen, Stephen F. *Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938* (New York, 1973).
- Conquest, Robert. *The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine* (New York, 1986).
- . *The Great Terror: A Reassessment* (New York, 1990).
- Corney, Frederick. *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution* (Ithaca, NY, 2004).
- Daniels, Robert V. *The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia* (Cambridge, MA, 1960).
- . *Red October: The Bolshevik Revolution of 1917* (New York, 1967).
- Davies, R. W. *The Socialist Offensive. The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929–1930* (Cambridge, MA, 1980).
- . *The Soviet Collective Farm, 1919–1930* (Cambridge, MA, 1980).
- . *The Soviet Economy in Turmoil, 1929–1930* (Cambridge, MA, 1989).
- . *Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933* (London, 1996).
- . and Stephen G. Wheatcroft. *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933* (Basingstoke, Hants., 2004).
- . Oleg V. Khlevnyuk and Stephen G. Wheatcroft. *The Years of Progress: The Soviet Economy, 1934–1936* (Basingstoke, Hants., 2014).

- Debo, Richard. *Revolution and Survival: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917–1918* (Toronto, 1979) и *Survival and Consolidation: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1918–1921* (Montreal, 1992).
- Deutscher, Isaac. *The Prophet Armed. Trotsky: 1879–1921* (London, 1954).
- . *The Prophet Unarmed: Trotsky, 1921–1929* (London, 1959).
- . *The Prophet Outcast: Trotsky, 1929–1940* (London, 1970).
- Fainsod, Merle. *Smolensk under Soviet Rule* (London, 1958).
- Ferro, Marc. *The Russian Revolution of February 1917*, trans. J. L. Richards (London, 1972).
- . *October 1917: A Social History of the Russian Revolution*, trans. Norman Stone (Boston, 1980).
- Figes, Orlando. *Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917–1921* (Oxford, 1989).
- . *A People's Tragedy: A History of the Russian Revolution* (London, 1996).
- . and Kolonitskii, Boris, *Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917* (New Haven, 1999).
- Filtzer, Donald, *Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928–1941* (New York, 1986).
- Fischer, Louis, *The Soviets in World Affairs: A History of Relations between the Soviet Union and the Rest of the World, 1917–1929* (Princeton, NJ, 1951).
- Fitzpatrick, Sheila. *The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917–1921* (London, 1970).
- . *The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia* (Ithaca, NY, 1992).
- . *Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934* (Cambridge, 1979).
- . *Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s* (New York, 1999).
- . *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization* (New York and Oxford, 1994).
- . *Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia* (Princeton, NJ, 2005).
- , Alexander Rabinowitch and Richard Stites (eds). *Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture* (Bloomington, IN, 1991).
- Fülöp-Miller, René. *The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of Cultural Life in Soviet Russia* (London, 1927).
- Galili, Ziva. *The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social Realities and Political Strategies* (Princeton, NJ, 1989).

- Getty, J. Arch, and Oleg V. Naumov. *The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939* (New Haven, 1999).
- Getzler, Israel. *Kronstadt, 1917–1921: The Fate of a Soviet Democracy* (Cambridge, 1983).
- Gill, Graeme. *Peasants and Government in the Russian Revolution* (London, 1979).
- Gorsuch, Anne E. *Youth in Revolutionary Russia. Enthusiasts, Bohemians, Delinquents* (Bloomington, IN, 2000).
- Haimson, Leopold. *The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism* (Cambridge, MA, 1955).
- . «The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917», *Slavic Review*, 23: 4 (1964) and 24: 1 (1965).
- . *The Mensheviks: From the Revolution of 1917 to World War II* (Chicago, 1974).
- Halfin, Igal. *From Darkness to Light: Class Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia* (Pittsburgh, 2000).
- Hasegawa, Tsuyoshi. *The February Revolution: Petrograd, 1917* (Seattle, 1981).
- Hellbeck, Jochen. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin* (Cambridge, MA, 2006).
- Holquist, Peter. *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis 1914–1921* (Cambridge, MA, 2002).
- Husband, William. «Godless Communists»: *Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932* (De Kalb: Northern Illinois Press, 2000).
- . *Revolution in the Factory: The Birth of the Soviet Textile Industry, 1917–1920* (New York, 1990).
- Keep, John. *The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization* (New York, 1976).
- . *The Debate on Soviet Power: Minutes of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets: Second Convocation, October (1918)* (Oxford, 1979).
- Kenez, Peter. *Civil War in South Russia, 1918* (Berkeley, CA, 1971).
- . *Civil War in South Russia, 1919–1920* (Berkeley, CA, 1977).
- . *The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization 1917–1929* (Cambridge, 1985).
- Kennan, George F. *Russia Leaves the War* (Princeton, NJ, 1956).
- . *The Decision to Intervene* (Princeton, NJ, 1958).
- Khlevniuk, Oleg V. *The History of the Gulag. From Collectivization to the Great Terror* (New Haven, 2004).
- Koenker, Diane. *Moscow Workers and the 1917 Revolution* (Princeton, NJ, 1981).
- . *Republic of Labor: Russian Printers and Soviet Socialism, 1918–1930* (Ithaca, NY, 2005).

- , and W. G. Rosenberg. *Strikes and Revolution in Russia 1917* (Princeton, NJ, 1989).
- Koenker, Diane, W. G. Rosenberg, and R. G. Suny (eds). *Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History* (Bloomington, IN, 1989).
- Kotkin, Stephen. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (Berkeley, CA, 1995).
- Kuromiya, Hiroaki. *Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928-1932* (Cambridge, 1988).
- Lazitch, Branko, and Milorad M. Drachkovitch. *Lenin and the Comintern, i* (Stanford, CA, 1972).
- Lewin, Moshe. *Lenin's Last Struggle* (New York, 1968).
- . *The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia* (New York, 1985).
- Lih, Lars. T. *Bread and Authority in Russia 1914-1921* (Berkeley, CA, 1990).
- Lincoln, W. Bruce. *Red Victory: A History of the Russian Civil War* (New York, 1989).
- McAuley, Mary. *Bread and Justice: State and Society in Petrograd, 1917-1922* (Oxford, 1991).
- Malle, Silvana. *The Economic Organization of War Communism, 1918-1921* (Cambridge, 1985).
- Mally, Lynn. *Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia* (Berkeley, CA, 1990).
- Martin, Terry. *The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939* (Ithaca, NY, 2001).
- Mawdsley, Evan. *The Russian Revolution and the Baltic Fleet: War and Politics, February 1917-April 1918* (New York, 1978).
- . *The Russian Civil War* (Boston, 1987).
- Medvedev, Roy A. *Let History Judge. The Origins and Consequences of Stalinism* (rev. edn; New York, 1989).
- Montefiore, Simon Sebag. *Stalin: The Court of the Red Tsar* (New York, 2004).
- Peris, Daniel. *Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless* (Ithaca, NY, 1998).
- Pethybridge, Roger. *Witnesses to the Russian Revolution* (London, 1964).
- . *The Social Prelude to Stalinism* (London, 1974).
- Pipes, Richard. *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923* (Cambridge, MA, 1954).
- . *The Russian Revolution* (New York, 1990).
- . (ed.). *The Unknown Lenin: From the Secret Archive*, trans. Catherine A. Fitzpatrick (New Haven, 1996).
- Rabinowitch, Alexander. *Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising* (Bloomington, IN, 1968).

- . *The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd* (New York, 1976).
- Radkey, Oliver H. *The Agrarian Foes of Bolshevism. Promise and Default of the Russian Socialist Revolutionaries, February to October 1917* (New York, 1958).
- . *The Sickie under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet Rule* (New York, 1963).
- . *The Unknown Civil War in Soviet Russia: A Study of the Green Movement in the Tambov Region, 1920–1921* (Stanford, CA, 1976).
- . *Russia Goes to the Polls: The Election to the All-Russian Constituent Assembly, 1917* (Ithaca, NY, 1989).
- Raleigh, Donald J., *Revolution on the Volga: 1917 in Saratov* (Ithaca, NY, 1986).
- . *Experiencing Russia's Civil War: Politics, Society, and Revolutionary Culture in Saratov, 1917–1922* (Princeton, NJ, 2002).
- Reed, John. *Ten Days That Shook the World* (London, 1966).
- Reiman, Michal. *The Birth of Stalinism: The USSR on the Eve of the «Second Revolution»*, trans. George Saunders (Bloomington, IN, 1987).
- Rigby, T. H. *Lenin's Government, Sovnarkom. 1917–1922* (Cambridge, 1979).
- Rosenberg, William G. *Liberals in the Russian Revolution* (Princeton, NJ, 1974).
- . *Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia*, 2nd edn, 2 vols. Ann Arbor, MI, 1990.
- Sakwa, Richard. *Soviet Communists in Power: A Study of Moscow during the Civil War, 1918–1921* (New York, 1988).
- Sanborn, Joshua A. *Drafting the Russian Nation. Military Conscripti-on, Total War, and Mass Politics 1905–1925* (De Kalb, IL, 2003).
- Schapiro, Leonard. *The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet State: First Phase, 1917–1922* (Cambridge, MA, 1955).
- Scott, John. *Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel*, rev. edn prepared by Stephen Kotkin (Bloomington, IN, 1989).
- Serge, Victor. *Memoirs of a Revolutionary* (Oxford, 1963).
- Service, Robert. *The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organizational Change, 1917–1923* (London, 1979).
- . *Lenin: A Biography* (Cambridge, MA, 2000).
- Siegelbaum, Lewis H. *Soviet State and Society between Revolutions, 1918–1929* (Cambridge, 1992).
- Slezkine, Yuri. *The Jewish Century* (Princeton, NJ, 2004).
- Smith, Stephen A. *Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917–1918* (Cambridge, 1983).

- Solzhenitsyn, Aleksandr I., *The Gulag Archipelago 1918–1956*, trans. Thomas P. Whitney, i–ii, iii–iv (New York, 1974–8).
- Steinberg, I. N. *In the Workshop of the Revolution* (New York, 1953).
- Steinberg, Mark D. *Voices of Revolution, 1917* (New Haven, 2001).
- , and Vladimir M. Khrustalev. *The Fall of the Romanovs. Political Dreams and Personal Struggles in a time of Revolution* (New Haven, 1995).
- Stites, Richard. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution* (Oxford, 1989).
- Stone, Norman. *The Eastern Front 1914–1917* (New York, 1975).
- Sukhanov, N. N. *The Russian Revolution 1917*, 2 vols., ed. and trans. Joel Carmichael (New York, 1962).
- Suny, Ronald G. *The Baku Commune, 1917–1918: Class and Nationality in the Russian Revolution* (Princeton, NJ, 1972).
- Timasheff, Nicholas S. *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia* (New York, 1946).
- Tirado, Isabel. *Young Guard! The Communist Youth League, Petrograd 1917–1920* (New York, 1988).
- Trotsky, L. *The Revolution Betrayed* (London, 1937).
- . *The History of the Russian Revolution*, trans. Max Eastman (Ann Arbor, MI, 1960).
- Tucker, Robert C. *Stalin as Revolutionary, 1879–1929* (New York, 1973).
- . *Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941* (New York, 1990).
- Tumarkin, Nina. *Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia* (Cambridge, 1983).
- Ulam, Adam B. *The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia* (New York, 1965).
- Ullman, Richard H. *Anglo-Soviet Relations, 1917–1921*, 3 vols. (Princeton, NJ, 1961–73).
- Valentinov, Nikolay [N. V. Volsky]. *Encounters with Lenin* (London, 1968).
- Viola, Lynne. *The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization* (New York, 1987).
- . *Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance* (New York, 1996).
- . *The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements* (New York, 2007).
- Volkogonov, Dmitri. *Stalin. Triumph and Tragedy*, ed. and trans. Harold Shukman (London, 1991).
- Von Hagen, Mark. *Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State, 1917–1930* (Ithaca, NY, 1990).
- Wade, Rex A. *The Russian Search for Peace, February–October 1917* (Stanford, CA, 1969).

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Wildman, Allan K. *The Old Army and the Soldiers' Revolt* (March–April 1917) (Princeton, NJ, 1980).
- . *The Road to Soviet Power and Peace* (Princeton, NJ, 1987).
- Wood, Elizabeth A. *The Baba and the Comrade. Gender and Politics in Revolutionary Russia* (Bloomington, IN, 1997).
- . *Performing Justice: Agitation Trials in Early Soviet Russia* (Ithaca, NY, 2005).
- Zeman, Z. A. B. (ed.). *Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918: Documents from the Archives of the German Foreign Ministry* (London, 1958).

Научное издание

ШЕЙЛА ФИЦПАТРИК
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Главный редактор издательства ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор издательства АРТЕМ СМИРНОВ
Выпускающий редактор ЕЛЕНА ПОПОВА
Корректор НАТАЛИЯ СЕЛИНА
Дизайн обложки и верстка СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 04.10.2017.
Тираж 2000 экз. Формат 84×108/32. Заказ 6874
Отпечатано в филиале «Чеховский Печатный Двор»
АО «Первая Образцовая типография»
142300, Московская обл., г. Чехов,
ул. Полиграфистов, 1
Сайт: www.chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59



Шейла Фицпатрик — австралийский историк, почетный профессор Сиднейского университета и заслуженный профессор Чикагского университета. Один из ведущих современных специалистов по социальной и культурной истории Советской эпохи, в особенности сталинизма. Автор книг: «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы. Город» (М.: РОССПЭН, 2001), «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» (М.: РОССПЭН, 2001), «Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века» (М.: РОССПЭН, 2011).